

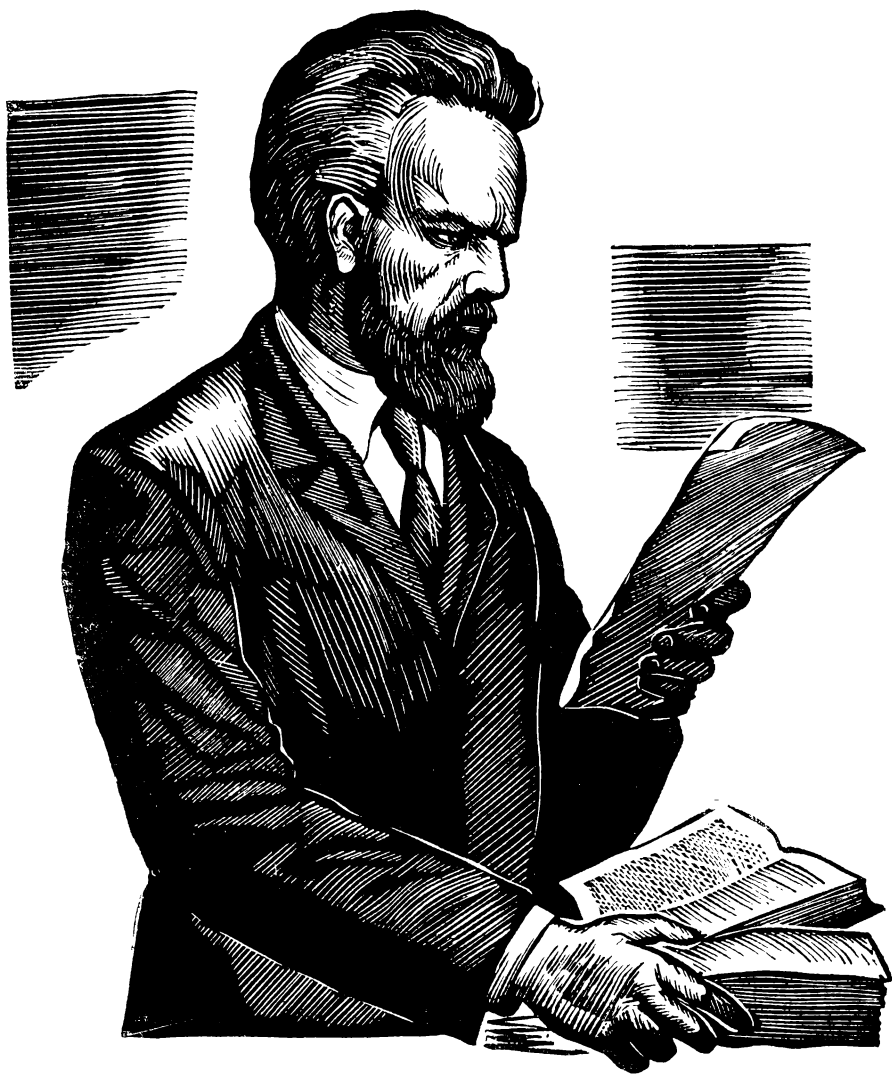
ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ



Сурее КЛИНКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“



С. М. Степняк-Кравчинский

ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ

Остее
КВАНКА

ПОВЕСТЬ

ЛЕНИНГРАД „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“
1973

Это повесть о человеке, который сам писал книги: о своих друзьях-революционерах, о бесстрашных, прекрасных людях. Но о себе он не написал ничего. Может быть, не успел, а может быть, не захотел, не счел возможным, так как был очень скромным человеком...

Повесть рассказывает о жизни, творчестве и борьбе замечательного русского революционера и писателя С. М. Степняка-Кравчинского, о его друзьях и соратниках: Софье Перовской, Степане Халтурине, Вере Засулич и других. Они боролись, дружили, подчас совершали трагические ошибки, но они страстно хотели видеть свою родину свободной и счастливой.

«Острее клинка» — вторая книга Игоря Смольникова о русских революционерах конца XIX века; первая была посвящена Герману Лопатину и вышла в нашем издательстве в 1965 году.

РИСУНКИ В. АЛЕКСЕЕВА

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1973 г.

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

СКАЗКА
О
КОПЕЙКЕ





Конец сентября 1872 года в Петербурге выдался сухим и теплым. Сергей вспоминал, что раньше, когда он был юнкером, осенью постоянно шли дожди. Случались наверняка и тогда погожие деньки, но они в памяти сохранились плохо. Объяснить это, впрочем, было нетрудно: Сергей любил долгие дождливые дни. В ненастье ротный командир реже гонял юнкеров на плац, предпочитая сосать чубук в казарме да играть в шашки с дневальным. После классных занятий юнкера предоставлялись самим себе. Сергей часами читал на окне. Окно на первом этаже, возле кордегардии, было очень удобное, с широким подоконником. Сергей устраивался на нем с ногами, подложив под спину свернутую шинель. За квадратиками стекол жили деревья — своей, обособленной от человека жизнью — и ему не мешали. Под шарканье близкого дождя так хорошо было вникать в смысл книг.

Кампанелла, Радищев, Маркс, Герцен, Добролюбов — десятки имен открылись ему там.

В ту пору начальником училища был добряк и либерал Платов. При нем строго не преследовали за чтение опасной литературы. Сергей чувствовал себя на своем подоконнике спокойно. А читал он больше всех своих друзей.

Леонид Шишко, бывало, даже ворчал, что у Сергея когда-нибудь от такого чтения пойдет ум за разум.

Сейчас Леонид шагал рядом с ним и был не похож на прежнего себя. Даже смешил немного Сергея. Опустился бородкой, важничал. Но держался нескладно: косолапил, побряхтывал. Видно, не без труда вживался в новую для себя роль цивилизованного человека, скинув мундир еще за месяц до Сергея.

Они оба впервые за много лет сами целиком распоряжались собой. Перед ними, как перед сказочными богатырями, разбегались в разные стороны дороги. Но то была славная сказка. Дороги сулили счастье.

Леонид писал Сергею из Петербурга, что познакомился с гарными людьми: хлопцы и дивчата дело пытаются и живут ладно, коммуной, все у них гуртом, как надо.

В первый же день после приезда Сергея из Харькова они и отправились к ним в гости.

Сергей идет по окраинным, деревенским на вид улицам Петербурга и удивляется тихой и теплой, какой-то не осенней, не петербургской погоде. И, честное слово, не припомнит, чтобы здесь в сентябре было так по-летнему хорошо.

Путь был дальний, и когда они добрались до Кушелевки, дачной местности за парком Земледельческого института, куда Сергей собирался поступать, было уже совсем темно.

В конце немощеной улочки пыжился фонарь. За темными деревьями прятались дома; их тут было немного. «Настоящее захолустье, — подумал Сергей, — мрачно и тихо, как в лесу». Но насупленность природы не могла потревожить приподнятого настроения.

Возле какого-то дома друзья вдруг столкнулись с девушкой.

Она выскользнула из темноты, словно нарочно их подстерегала. Девушка была маленькой, тоненькой, по-детски чисто зазвучал ее голосок:

— Ленечка, здравствуй. Я тебя еще издали узнала.

У тебя походка, как у мишки косолапого. — Она засмеялась — рассыпалась колокольчиком. — Ты не сердишься? — Она спрашивала только для порядка, чтобы Леонид и его спутники присоединились к ее веселости.

— Ось, познакомясь, — прятал в басок хорошие нотки Леонид, — це Сергей Крѣвчинский, про якого я тобі казав. А це Соня. — Он чего-то еще раздумывал, пока Сергей и Соня пожимали друг другу руки, потом добавил: — Перовская.

* * *

В большой комнате горела под потолком лампа, освещающая стол с самоваром.

Когда Перовская постучала и дверь отомкнули, комната встретила вошедших дружной тишиной.

По тому, как все молча разглядывали его, по выражению лиц, по другим, неуловимым сразу признакам, сливающимся в характерную атмосферу молодежной сходимости, Сергей почувствовал, что их приход оборвал спор.

Так оно и было. Только успела Перовская представить его, как один, в студенческой тужурке и пенсне, отодвинул стакан с чаем (до этого нервно помешивал в нем ложечкой) и сказал:

— Устав необходим. Каждому должно быть ясно, кто он такой и какие у него обязанности.

Ему ответила девушка с косами, которая хозяйничала у самовара:

— Мне и так ясно, кто я и какие у меня обязанности. — Ее голос звучал с насмешкой.

— В самом деле, — вмешалась Соня, — кому это не ясны его обязанности? Басову? Ничего удивительного.

— Что вы имеете в виду? — В стеклах пенсне вспыхнул отраженный от лампы свет.

— Очень просто. Вы из рук вон плохо ведете библиотеку у себя в институте.

— У меня были экзамены, вы знаете.

— Причина серьезная, — заметил светлорылый человек.

— Да, серьезная.

— Сейчас экзамены, потом служба, — все так же невозмутимо продолжал светлорылый, — где уж тут заниматься агитацией?

— Вы передергиваете, Николай.

— Нисколько. Я лишь договариваю. Если вы пойдете на службу, станете чиновником...

— Я стану инженером!

— Все равно. Вы будете пользоваться для себя тем общественным укладом, который мы считаем безнравственным.

— Я с вами не согласен.

— Ваше право.

— Вы меня не так поняли, — Басов разволновался, — я не оправдываю наше государство. Но можно служить народу...

— И не отречься от своих привилегий? — перебили его. — То есть сидеть на двух стульях?

— Так мы не можем, — сказал Николай, — верно, Соня?

— Я бы так не смогла, — ограничилась девушка кратким ответом.

Всем в комнате, за исключением Сергея, была понятна весомость ее слов.

Соня ушла из дома и скрывалась от отца, петербургского вельможи. Она была по существу единственной нелегальной среди собравшихся.

На ней было простенькое платье, как у гимназистки, с белым воротничком. В другом месте она легко бы и сошла за гимназистку. С нежным девичьим обликом никак не вязалось представление о чем-то серьезном, заговорщическом. Но чем больше Сергей вглядывался в черты Сониного лица, тем неотступнее чувствовал какую-то не девичью, а юношескую одухотворенность, таившуюся в строгом выражении ее голубых глаз, выпуклого лба, красивых губ.

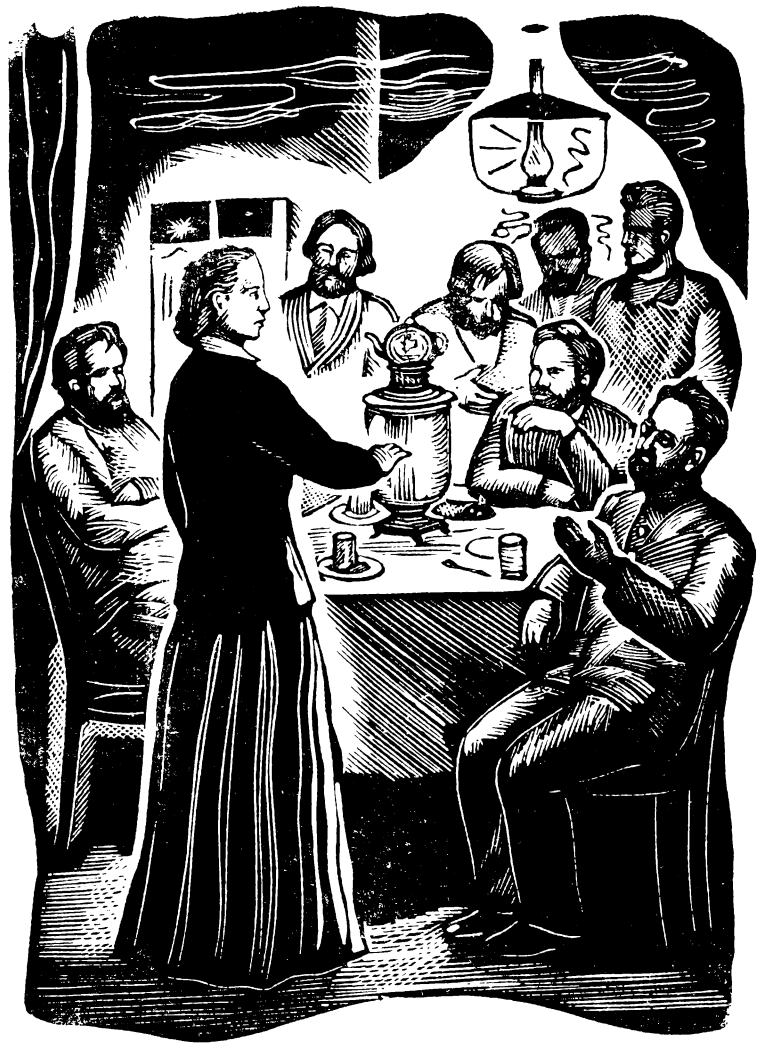
Углы комнаты пропадали в полумраке. Окна были завешены шторами. На столе посвистывал самовар. Одни курили, другие пили чай. Сизый дым слоился у потолка. Обстановка была доброй, несмотря на жесткие слова, сказанные Басову, несмотря на его обиду.

* * *

Снаружи постучали.

— К хозяевам, — сказал неуверенно Леонид.

Хозяевами были мещане, богомольные и робкие, запиравшиеся с темнотой. Их по вечерам обычно не навещали.



Николай мягко и быстро, как кошка, подскочил к окну, откинул штору.

— К нам, — его голос успокоил, — но не пойму — кто. Во всяком случае, не полиция.

Он пошел отпирать. Было слышно, как хлопнула входная дверь. Через минуту в комнату вошел высокий человек. Одной рукой он держался за плечо Николая.

Девушка с косами бросилась навстречу:

— Феликс?

Он улыбнулся ей, но улыбка получилась трудной. Она была не в силах стереть тяжелую усталость лица.

Николай подвел его к столу, усадил.

Сергей с интересом вглядывался в этого человека.

Феликс Волховский был старше его на несколько лет. Он начал в то время, когда у решетки Летнего сада прогремели выстрелы Каракозова. Волховский и сам был отчасти замешан в этом деле, его даже держали под стражей, но за отсутствием улик выпустили.

Арестовали его последний раз больше года назад. Дважды до этого попадал Волховский в Петропавловку и дважды так ловко защищал себя, что судьи не могли даже подвергнуть его административной высылке. Поймать его с поличным, арестовать на крамольной сходке, обнаружить у него запрещенную литературу жандармы никак не могли. Они чуяли, что это крупная птица, но, как говорится в половице, видит око, да зуб неймет.

Волховский вызывал злобу у своих врагов. Они мучили его допросами по ночам, лишали прогулок, переписки, книг. Вообще стремились измотать. Отчасти они этого добились. Силы Волховского были на пределе. Жандармы вытолкнули его за ворота крепости вечером, без копейки денег и теплой одежды. Никто из друзей ничего не знал, никто не встречал его.

Но он, изможденный и голодный, был счастлив, как только может быть счастлив человек, который побывал в русской каталажке и неожиданно получил свободу. Он шатался от усталости, но оставался твердым и злым: если чудо удалось в третий раз и ворота крепости остались за спиной, — значит, в будущем его уже ничто не погубит.

Прямо оттуда, от захлопнувшихся с лязгом ворот, он прошагал через весь город на Кушелевку, к друзьям — и

вот сидел среди них, вглядывался в их лица, верил и не верил, что снова у своих.

Сердце дрожало, он сдерживал слезы, а губы плохо слушались его. Но он все же заставил их подчиниться и прохрипел:

— Ну вот, я пришел. Дайте мне какое-нибудь дело. Я готов.

Так же, как Сергей, все ожидали чего угодно, только не этих слов.

Комната на несколько секунд замерла в тишине.

В этот момент Сергей понял, почему безмерно уважали Волховского все, кто с ним работал. Но у Сергея больно сжалось сердце, потому что он видел, как ослаб Волховский.

Ему нужен был покой, по крайней мере на первое время, хотя бы на несколько дней.

Но никто не возразил ему, никто не оскорбил ненужной правдой.

Девушка с косами поставила перед ним стакан чая.

— Хорошо. Мы обсудим. Ты пей пока.

Волховский не сразу, после того лишь, как остальные взялись за стаканы, отхлебнул из своего.

Горячий чай был для него сейчас самым лучшим лекарством. Волховский постепенно согревался, и его суровое лицо смягчалось.

Пил он долго, с наслаждением, бережно разламывая мягкие бублики дрожащими пальцами.

— Тебе надо прежде всего укрыться, — по-деловому заговорил Николай, и этот тон был самым правильным для дальнейшего разговора — он тоже помогал и успокаивал Волховского.

— Стать нелегальным? — после долгой паузы спросил он.

— Трижды тебе везло.

— Мне везло... Я согласен.

— За тобой следили? — спросил Леонид.

— Не знаю. Не помню, — признался Волховский.

— Ничего, — сказал Николай, — даже если проследили, всю ночь шпик тут торчать не будет. А под утро мы тебя перевезем.

— Ну, что ж, и на это согласен, — совсем просветлел Волховский.

Сергей вышел ночью на улицу с таким чувством, будто расстался с самыми близкими людьми. Давно он уже не переживал такого.

В училище Сергей дружил всего лишь с двумя — Леонидом Шишко и Димитрием Рогачевым... На службе в Харькове он ни с кем не сошелся, кроме солдат фейерверкерской школы. Но это были отношения особого рода...

Когда-то очень давно он испытывал подобные чувства, отправляясь осенью на учебу в Орловскую военную гимназию. Отец и мать оставались в Харькове, а он уезжал в Орел. В минуту прощания было всегда очень тоскливо. Мать стояла на крыльце, и Сергей читал в ее глазах такую же тоску. Ни она, ни он не могли понять, зачем надо было отрывать его от тепла и уюта семьи. Но у отца были свои взгляды. Он считал, что сын военного должен стать военным, а для этого самое лучшее — еще в детстве порвать со всякими сантиментами. Но, кажется, ошибся в итоге полковой лекарь Михаил Кравчинский. После многих лет учебы и службы у сына — настоящий голод по сердечности и дружеской ласке.

Пожалуй, хорошо, что сейчас темно и выражения его лица не видно. Пришлось бы долго объяснять, почему отставной поручик так размягчился. А ведь его рекомендовали кушелевцам как человека решительного.

Сергея вышла проводить Соня.

Ей что-то было от него надо, но в доме она почему-то говорить не захотела.

Вспомнился ее презрительный тон, когда она бросила несколько слов Басову. Его оправдания прозвучали жалко. А она молодец, права: в коммуне таким не место. Если человек выгадывает что-то лично для себя, с ним каши не сваришь.

— Вы не находите, что мы слишком много говорим? — неожиданно спросила она.

— Нет, — искренне ответил Сергей, — разговоры неизбежны.

— К сожалению, — жестко сказала она, — мы вообще варимся в собственном соку.

— То есть как?

— Нельзя же, поймите, читать друг дружке рефераты и воображать, что от этого все переменится.

— Разве рефераты не приносят пользы?

— Для нас с вами — приносят. Но ведь существуем не только мы! А мы об этом забываем. Никто из наших никогда по-настоящему не пытался говорить с людьми. С обыкновенными рабочими. А ведь это главное.

— Откровенно говоря, я здесь еще не огляделся. Я даже не знаю, много ли рабочих в Петербурге.

— Но вы со мной согласны?

— Пожалуй, согласен.

— Мне Леонид рассказывал, как вы разагитировали своих солдат в Харькове.

— Он любит преувеличивать.

— Но у нас и такого опыта нет! Вы должны нам помочь, Сергей. Это просто счастье, что вы приехали, честное слово. Я от вас теперь не отстану, не надейтесь.

— Не надеюсь, — рассмеялся Сергей, ему понравился напористый характер этой маленькой девушки. Она заставляла по-новому взглянуть на то, что было в Харькове.

* * *

Да, там он действительно сделал попытку склонить на свою сторону солдат. Началось это буквально на следующий же день после его прибытия к месту службы. Ему поручили вести класс в фейерверкерской школе харьковской артиллерийской бригады.

Утром в белом, хрустящем кителе, в фуражке с белым верхом Сергей шагал на свой первый урок.

Ему нравились красно-белые плитки тротуара, чистые и влажные после ранней уборки, звонко принимавшие шаги; развесистые кроны деревьев, от которых веяло свежестью; открытые настежь окна домов, куда свободно лилась эта свежесть и бодрые звуки утренней улицы, смывавшие в людях сонливую лень и скуку.

В такое утро нельзя было дремать, хандрить, а только — двигаться, ходить, ощущая силу и упругость молодого тела, только улыбаться — солнцу, домам, каждому встречному.

Утром, особенно солнечным, в лицах всех людей светится доброта. Она есть в каждом, но, к сожалению, не все подозревают об этом и не каждому она потребна для общения с другими. Но утром независимо от воли людей самое

их лучшее, потаенное проступает наружу. Хорошие дела чаще всего начинаются утром.

«Школа начинается сегодня утром, — подумал Сергей и засмеялся. — Замечательно, что я прихожу к солдатам не скалозубом, а наставником!»

Но первые минуты в классе смыли восторженное состояние.

Грохнули каблуки, дежурный прогаркал рапорт, фейерверкеры лихо рывкнули «Здравия желаем, ваше благородие», аж задребезжали стекла в окнах, — и не осталось никаких сомнений в том, что ученики воспринимают молодого преподавателя пока только как офицера, который явился распорядиться и командовать.

— Первое занятие, — сказал он тихо, но внятно, — мы посвятим общим законам баллистики. Что есть баллистика?

Класс ответил гробовым молчанием.

Сергей оглядел напряженные лица солдат и решил не дергать их, не вызывать. Пусть попривыкнут к нему, послушают, и начал с основ, с древности.

— Баллистика, — объяснил он, — наука о движении снаряда в воздухе и канале пушечного ствола. Происходит это слово от слова древних греков — «балло», что значит бросать, метать...

Вереница имен и событий ожила в памяти.

Прежде чем из ствола сорокадвухдюймовой пушки вылетел, вращаясь веретеном, снаряд, человечество осваивало пращу и римскую баллисту, были осады Трои и Карфагена, Александр Македонский и Спартак. История баллистики переплелась с историей народов, с войнами против захватчиков и рабства.

По лицам солдат он видел, что им тоже интересно, что они незаметно для себя в какой-то момент перестали быть нижними чинами, подчиненными, а превратились в доверчивых слушателей.

Где надо, Сергей возвращался к «общим законам» баллистики. Но и его, и слушателей на этом уроке больше волновали повстанцы, рабы Греции и Рима, нежели траектории, по которым вылетали камни из катапульт.

Когда урок кончился и солдаты, уважительно пропуская его вперед, столпились у дверей, Сергей почувствовал, что первый важный шаг к сближению сделан.

Успехи первых уроков были закреплены через несколько дней на стрельбах. Но именно там он впервые ощутил, что рано или поздно его пропагандистская работа прервется.

На стрельбах Сергей должен был не только приступить к обучению будущих фейерверкеров, но и показать, что он сам искусный артиллерист. Уставом это не требовалось, но Сергей понимал: не покажи он солдатам меткой стрельбы, уважение, зародившееся на уроках, улетучится надолго.

Поэтому он слегка волновался, когда сел к панораме, взялся за колеса наводки и поймал в перекрестке прицела ориентир.

Разрывы взвихрились кучно, прицелочные выстрелы легли как надо, и Сергей понял, что с двух-трех снарядов может попасть в цель.

Не отрывая глаза от кожаного ободка прицела, он скомандовал:

— Огонь!

Заряжающий рванул шнур. Грохнул выстрел. Пушка дернулась назад, взрыв лапами землю.

Сергей схватил бинокль, но, прежде чем успел разглядеть цель, за спиной раздался голос штабс-капитана Перегудова, наблюдателя за стрельбами лично от командира бригады:

— Образцовый выстрел!

— Может быть, вы желаете? — без всякой задней мысли, с великодушием счастливец предложил он Перегудову.

— Благодарю вас, — отказался тот, — мне надо к другим орудиям.

Он любезно улыбнулся и покинул позицию расчета.

Однако на обратном пути он вновь оказался возле Сергея.

— О чем вчера рассказывали, Сергей Михайлович? — словно невзначай спросил он. — Все о древней истории или уже и Французская революция?

— Есть любознательные солдаты, — Сергей простодушно улыбнулся. — Я должен вам доложить.

— Почему же мне? — как будто насторожился Перегудов.

— На нас, офицерах, большая ответственность, — не ответил прямо Сергей. — Начинается с безобидного вопроса о том, какое оружие было у древних, а кончается...

Сергей замолчал.

— Вы так думаете? — спросил Перегудов, словно ошупью, словно сбившись с привычной дороги и не зная, куда она подевалась.

— Лучше, если я расскажу им, кто такой Спартак. Хуже, если солдаты узнают об этом от другого или, не дай бог, прочтут в какой-нибудь книжонке.

— Кто же им подсунет такую книжонку? — кажется, вновь обрел твердость под ногами Перегудов.

— Вот и я думаю — кто? Не мы же с вами.

Сергей, согнав с лица улыбку, смотрел на штабс-капитана. Тот выдержал взгляд, ничем не обнаружив досады.

Было совершенно ясно, что за подпоручиком Кравчинским ведут со дня его приезда самую настоящую слежку.

В конце концов Сергей понял, что в армии пропагандист сможет пойти лишь до определенной черты. За ней начинался безрассудный риск. Надо было или прекращать всякую работу, или выходить в отставку. Сергей выбрал второе. За полтора года он дал своим солдатам все, что мог дать, и сам от армии взял все, что могло пригодиться в будущем.

* * *

— Понимаю, — сказала Соня, — там всегда сыщется какой-нибудь Перегудов. Но вам было все же проще.

— Проще? — удивился Сергей.

— Вы же имели готовых слушателей. Вам не надо было их искать.

— А вам?

— В том-то и дело, что мы сами по себе, а рабочие сами по себе. Мы не знаем друг друга. Не могу же я пойти к проходной и звать к себе в кружок. Как войти к ним в доверие, никто не знает. Два мира. Это ужасно. Но ведь надо же нам переступить эту границу!

В зыбком свете уличного фонаря сердито блестели ее глаза.

«Переступим, — заражаясь ее настроением, подумал Сергей, — уверен, что очень скоро. Ты ведь явно не из тех, кто подолгу топчется на одном месте».

Так оно вскоре и произошло.

В коридоре института Сергей увидел Соню.

Длинное платье с широким поясом на тоненькой талии, белокурый нимб волос были необычны в чинном коридоре.

Бородатые студенты, как шмели, шумно обтекали девушку.

Сергей подумал — как уместна она здесь, с ее пытливыми глазами и выпуклым лбом.

Почему-то высшие учебные заведения в России для женщин закрыты. Они уезжают за границу — в Женеву, Париж, Цюрих. Не мудрено, что лучшие из них становятся нигилистками.

— Вы сегодня мне нужны, — не дала она ему даже раскрыть рта, — пойдемте сейчас со мной.

— Хорошо, — сказал он, — через пять минут я освобжусь.

Пять минут, пока Сергей куда-то ходил, Соне показались часом.

Времени оставалось в обрез, а ей надо было все рассказать, посоветоваться и успеть к месту встречи.

Два чайковца — Чарушин и Синегуб — случайно познакомились с рабочими Обуховского завода (кушелевцы стали называть себя чайковцами по фамилии Николая Чайковского, который играл видную роль в кружке; это он дал отповедь Басову в тот, первый приход Сергея на Кушелевку). То, что не удавалось несколько месяцев, решилось вдруг быстро и просто.

Чарушин и Синегуб разговорились с рабочими в трактире за чаем.

Оказалось, что у тех и у других забот полон рот — и на жизнь надо заработать, и от начальства отбиваться. Хотя у студентов имелся козырь: они были грамотны. А для рабочих грамота — вроде камня поперек дороги. Вот если бы студенты захотели помочь... Чайковцы заявили с горячностью, что готовы заниматься и чтением, и письмом, и, разумеется, бескорыстно. Рабочие тоже без колебаний согласились. Да еще удивили студентов, сказав, что не надо бы одной большой артелью. Собираться множеством — риск. Начальство живо пронюхает. Если бы студенты могли еще кого из своих на это дело склонить...

Все получилось как по заказу. Вчера не было ничего, сегодня — несколько кружков.

Но как встать на одну ногу с неграмотным тружеником? С чего начать? Какие книги принести? Как сочетать обучение по букварю с азбукой социальной борьбы?

Сергей Кравчинский казался Соне человеком, который с умом смотрел на вещи. С людьми говорить он умел, причем с разными: завидное качество. Не каждого пошлешь так вот, запросто, к рабочим. А его можно.

— Чем больше будет рабочих, — сказала Соня, — тем больше потребуется пропагандистов. А наша братия разношерстна. Мы прожили на Кушелевке вместе одно лето — из семнадцати человек осталась половина.

— Что загадывать? Поживем — увидим.

— Так нельзя, — возмутилась Соня, — мы должны распропагандировать весь Петербург!

* * *

Вечерело, когда подошли к дому у Александро-Невской заставы. В лавре звонили в колокола, к вечерней службе тянулись фигуры верующих. Циркая по камню концом пашки, прошел городской. Он и не повернул головы в сторону студента и скромно одетой барышни. В этом районе обитала и такая, победнее, студенческая публика.

Их уже ждали. Поздоровались, расселись вокруг стола. Соня, слегка краснея и от этого делаясь еще моложе, рассказывала о программе занятий. Сергей присматривался к рабочим.

Один из них особенно его заинтересовал. Сергей видел, что этот парень, в отличие от других, прекрасно замечает волнение барышни. Улыбка его тонких губ словно подбадривала: «Не робей, ребята тебя понимают, ты даже не представляешь, как они тебя отлично понимают».

Его глаза то сосредоточенно, даже с какой-то грустью, светились, то весело вспыхивали. Он был широкоплеч, с высокой грудью и сильными руками, которые только и выдавали в нем рабочего человека. Волнистые волосы, каштановая эспаньолка, правильные черты лица делали его похожим на артиста, художника или ученого.

Соня кончила, и первым заговорил именно он, этот красавец в рабочей блузе. Говорил он небыстро, но правильно, по существу и поразил Сергея снова: некоторые его обороты выдавали не только природный ум, но и образован-



ность. «Зачем же он тогда пришел сюда?» — невольно встал вопрос.

Сразу после занятий рабочий сказал: «Я вас провожу» — и вместе с Сергеем и Соней вышел из дома.

— Я должен знать, — заговорил он, — какие у вас задачи.

— Самые простые, — ответила Соня, — передать свои знания тем, кто их не имеет.

— Это мне понятно, — Сергей почувствовал досаду в его тоне, — все дело в том, каковы эти знания.

— Я думаю, в основе любых знаний лежит грамота, — сказал Сергей. — Вашим товарищам надо научиться читать, писать, считать.

— Это само собой, я ведь не о том. Не будем играть в прятки: этого мало.

— Что же вы предлагаете? — спросила Соня.

— Если вы те люди, что я думаю, — без суеты говорил рабочий, — вы должны теперь же заняться пропагандой. Можете поверить, вас будут слушать и никто не выдаст. Об этом уж мы сами позаботимся.

— Этого мы не боимся, — заметил Сергей.

— Безопасность — вещь не последняя.

«А ведь он прав, — подумал Сергей, когда они расстались, — мы очень беспечны... Он тоже встал на опасный

путь. У него простое имя — Степан. И фамилия простая — Халтурин... Но с таким встретишься — надолго запомнишь».

* * *

Для Халтурина с этого вечера началась новая жизнь. Он давно искал встречи с такими людьми, как Сергей и Соня. Сергей, откровенно говоря, пришелся ему по душе больше, чем Соня. Не то, чтобы она ему не понравилась, наоборот, но он вообще считал, что не девичье это дело — пропаганда среди рабочих. Слишком серьезно. А барышня есть барышня. Случись что, от полиции, к примеру, отбиваться, — где уж ей? Да и не для девичьих ушей кое-какие словечки, которыми подкрепляют невзначай свою речь простые люди.

Вот Сергея и он, и его друзья сразу приняли как своего. Он ничего специально не делал, чтобы непременно понравиться, но понравился всем. Степан это чувствовал.

Когда Сергей пришел на первую встречу, у него был вид наработавшегося и здорово уставшего за день человека. Это тоже, надо полагать, сближало его со слушателями. Хотя говорил он мало, все барышне передоверил. Может, потому и доверил, что сам устал...

Интересно, откуда он родом? Где жил? Что делал до того, как стал студентом? Степан не сомневался, что этот студент имеет за плечами немалый опыт другой, не студенческой жизни.

Судя по всему, он человек основательный. Бородка, как у цыгана, и сам вообще на цыгана смахивает. Голова большая. Ни дать ни взять — тыква. Степан улыбнулся неожиданному сравнению. С его лбом хоть в апостолы записывайся. И силой, видать, бог не обидел. Когда прощались, руку как медведь сдавил.

Степан любил сильных людей. Ему самому пришлось многого в жизни добиваться сноровкой и силой.

В их роду вообще не было слабых. Мужики доживали до ста годов и стариками продолжали спокойно справлять нелегкую крестьянскую работу.

Как далекий сон, вспоминалась Степану родная деревня, отцовская изба.

Отец не баловал его лаской. В доме порядок был суровый. Мать исподволь ласкала его, все больше так, чтобы не заметил отец, не попрекнул «барскими нежностями». Все

дети с малолетства были приспособлены к хозяйству. В четыре года Степан пас гусей, в шесть управлял лошадьми, в семь вместе с батей ездил зимой в лес за дровами.

Что там ни говори, а крестьянская закалка пригодилась, и на родителя грех роптать. Отец глядел вперед зорче всех других мужиков деревни. После двухклассной приходской школы он отдал Степана с одним из его братьев в вятскую техническую школу. Сам повез из деревни, потратив на это несколько дней и уплатив сполна за учебу.

В школе Степана учили разным наукам и слесарному ремеслу. У него оказались золотые руки, но острый и неужданный язык. «Язык твой — враг твой», — сердито говорил ему учитель математики и пророчил несладкое будущее: Степан никогда за словом в карман не лез. А порядки в школе были такие, что хоть караул кричи: учеников пороли, запирали на ночь в холодный чулан, кормили скверно.

Отец приучил сыновей к труду и строгости, но воспитал также и уважение к самим себе. Степан страдал острее брата, тот был безответным тихоней.

Из-за него-то все и стряслось.

В конце четвертого года обучения на уроке закона божьего поп придрался к брату и поставил его на колени в угол. Степан громко на весь класс сказал из евангелия: «Претерпев же до конца — спасешься». Поп велел Степану стать на колени рядом с братом, но Степан не послушался. Тогда поп озлился и схватил ослушника за ухо. Степан вырвался и ударил попа по руке.

Обратно в дом Степан вернуться не захотел, да отец и не стал неволить. Он дал сыну десять рублей на дорогу и сказал: «Ты, видать, горяч, поди попытай счастья в Москве. Ремесло у тебя, почитай, есть, а чего нет — доучишься. Я тоже с ничего начинал».

С тех пор и «пытал счастья» Степан в столицах — сначала в Москве, потом в Петербурге. Ремеслом он овладел, и даже не одним: за пять последних лет научился хорошо столярничать. Это, кстати, позволяло ему выбирать себе кабалу полегче и время от времени устраиваться не только на фабриках или заводах, но и брать самому или с артелью сложный подряд у какого-нибудь богатея, отделывающего свой особняк. Такая работа давала больше досуга, и Степан мог без помех читать.

К чтению он приохотился еще в деревне; даже отец, бывало, привозил ему зимой с ярмарки из Вятки какую-нибудь книжонку за семишник. Впрочем, к нужным книгам он пришел не сразу и долго бы плутал, если бы не повстречался ему один хороший человек.

Степан по себе знал, как важно вовремя получить в таком деле помощь. Он и сам потихоньку учил кое-чему своих друзей. Но их было слишком много, и он один явно не справлялся. А кроме того, чувствовал, что ему самому еще многого не хватает. Да и языков он не знал, а некоторые книги можно было прочитать только по-французски или по-немецки.

Человека, который ему помог в азах социальной грамоты, полгода тому назад арестовали. Степан о нем ничего больше не слышал. Встреча с Сергеем и Соней была для него поэтому как нельзя кстати. Он не загадывал, подружатся они в скором времени или нет, но твердо решил взять от своих образованных знакомых все, что они смогут дать.

* * *

В жизни Сони после этой встречи тоже многое переменялось. Собственно, все, что было до того, она считала лишь подготовкой: и ночи, проведенные над книгами, и споры в кушелевской коммуне, и разрыв с семьей.

Уход из дому потребовал от нее всех ее душевных сил. До самого последнего момента она все же не верила, что у нее хватит мужества оставить маму.

Но иного для Сони быть не могло: жизнь в доме отца становилась все невыносимей... А началось все в детстве, когда впервые Соня пережила острое чувство стыда, жалости и гнева во время летнего переезда семьи на юг.

Петербургского губернатора Перовского провожала почтительная толпа — нарядные дамы, офицеры, жандармы...

В последнюю минуту перед отправлением возле их вагона оказался бедный мужичок, совсем старенький, в армяке, подпоясанном веревкой, в лаптях, онучах, с холщовым мешочком на плече. Мужичок то ли опоздал, то ли потерял своих, но, когда ударил колокол, не разобрался, где что, и засеменил к вагону Перовских. И так как это случи-

лось в последний момент и неожиданно, никто не поправил его, не подтолкнул в нужную сторону, в голову состава, где были зеленые вагоны третьего класса для простонародья. Мужичок пробился к дверям и уже было схватился за поручни, как жандармский офицер, стоявший в тамбуре, ударом ноги сбил его с подножки на перрон. Мужичок упал на спину. Оторвался и покатился в сторону его мешок.

Платформа с людьми поплыла назад, а Соня с широко раскрытыми глазами смотрела то на несчастного мужичка, то на отца, который стоял возле окна и, надувая губы, мурлыкал какой-то мотив...

Соня не помнила, чтобы она когда-нибудь испытывала к нему теплое чувство. Может быть, в самом далеком детстве, когда была несмышленищем и не замечала, как часто плачет мама...

Мама приняла ее решение молча и покорно. Она давно стала замечать, что младшая дочь уходит от нее. Но с Машей, старшей сестрой, у Сони произошло бурное объяснение.

Сестры всегда ладили друг с другом, даже дружили. Они многое любили одинаково. Вместе ездили на концерты, в оперу, не пропускали ни одной выставки в Академии художеств. Но для Сони все это постепенно отодвигалось на второй план; последний год перед уходом свои светские обязанности она выполняла автоматически; выполняла, потому что не хотела до поры до времени беспокоить мать.

Маша вначале просто не поверила, что сестра уходит к каким-то чужим людям.

— Ты пойми, — убеждала ее Соня, — они мне не чужие. Они для меня значат очень много.

— Но не больше, чем твои родные?

Сестра смотрела на Соню испуганно и удивленно.

Соня не стала кривить душой:

— Больше, Маша.

— Больше, чем я?

— Да.

Соня знала, что сделала ей больно, но ответить иначе ей не позволила совесть.

Впоследствии она жалела об этом ответе. Можно было промолчать. Тем более, что всего происходящего с ней сестре все равно было не объяснить.

Как-то возвращаясь с урока от одного балбеса, которого папаша готовил в военное училище, Сергей встретил Соню.

Она как будто через силу произнесла несколько приветливых слов и сразу словно отстранилась, отодвинулась от него.

— Что с вами, Соня? — спросил он.

— У вас есть мать? — неожиданно резко повернулась к нему она. — Вы ее любите? Впрочем, что я спрашиваю. Конечно, любите. Я не о том... Как ей живется? Вы ее давно видели?

В ее быстрых вопросах он почувствовал тревогу.

Сергей ответил, что мать видел давно, но думает о ней часто и с тоской...

Соня кивнула. Сергей увидел, что глаза ее заблестели.

— Пойдемте со мной, — решительно, с какой-то неестественной для нее поспешностью заговорила она, словно боясь передумать. — Мне очень надо. И ни о чем не спрашивайте.

В подъезде богатого особняка возле Таврического сада Соня позвонила.

Старик швейцар принимал у Сони пальто и, вздыхая, бормотал:

— Ах, барышня, разве можно по такой погоде в такой ротондочке? Совсем вы худенькая стали, в чем душа держится... Ее превосходительство вас наверху дожидается, в гостиной. Прошу вас.

Он остался с шинелью Сергея на руках и смотрел, сгорбась, как Сергей и Соня медленно поднимаются по мраморным ступеням.

В огромной комнате, освещенной одной настольной лампой, в уголке дивана, кутаясь в плед, сидела маленькая, нестарая еще женщина и смотрела на вошедших испуганными глазами.

— Мапочка! — прошептала Соня и прижалась к ее коленям.

«Зачем она позвала меня? — подумал Сергей. — Я же явно неуместен при их встрече...»

— Подойдите сюда, — тихо позвала его женщина, — господин... молодой человек... я не знаю, как принято у вас. Простите.

— Сергей Михайлович.



— Да, да, Сергей Михайлович, прошу вас, садитесь сюда, к свету.

Он послушно сел на диван рядом с ней. Она долго рассматривала его.

Соня примостилась на ковре возле ног матери и заглядывала в ее лицо снизу вверх с грустной улыбкой.

— Вы извините, Сергей, что я вас так бессовестно завлекла. Но мама очень хотела познакомиться с кем-нибудь из наших. Вы уж поскучайте с нами немного. Я сюда ненадолго.

При последних словах лицо матери болезненно дрогнуло.

— Ну, что вы, — Сергей неловко успокаивал обеих, — я очень рад знакомству. Мы только что говорили с Соней о моей матери.

— Вы любите свою мать? — спросила женщина, и Сергей невольно посмотрел на Соню.

— Да, конечно, — ответил он.

— Говорят, нигилисты не признают никаких чувств.

— Кто же это говорит?

— В нашем доме, — неопределенно повела рукой женщина, — наши знакомые.

— Ах, мамочка, — с досадой вырвалось у Сони, — ты бы поменьше слушала всякие рассказы.

— Тебе легко говорить, — возразила мать, — а я целые дни одна.

— Разве я похож на человека, для которого нет ничего святого? — с улыбкой спросил Сергей.

— Я не вас имела в виду, — смутилась женщина, — вы производите хорошее впечатление.

— Вот спасибо, мамочка! — захлопала в ладоши Соня. — Ты даже не представляешь, какой комплимент сделала Сергею Михайловичу. А то он, бедненький, думал, что похож на серого волка.

— Ну что ты, Соня, — пыталась уговорить ее мать, — ты бог знает что говоришь. Что про меня подумает гость?

— А так и подумает, — продолжала веселиться дочь, — что и ты воображаешь нигилистов сиволапыми лохмачами.

— Какие же мы нигилисты? — вмешался Сергей. — Это Тургенев пустил словечко, оно и пристало. Нигилист — от ничто. А у нас — реальная программа.

Сергей чувствовал напряженное внимание во взгляде женщины.

Наверное, общий смысл его рассуждений мало ее затрагивал, она ждала ответа на свои мучительные вопросы о дочери.

— За Соню вы можете не волноваться, — сказал он, — ей ничто не грозит.

Сказав это, Сергей тут же упрекнул себя: не надо неправды. Ничто не грозит пока. А что произойдет через месяц, неизвестно. Мать ее человек чуткий. С ней хитрить не надо. Она и так очень несчастна.

— Не успокаивайте меня, Сергей Михайлович, — слабо улыбнулась она. — Когда Сонюшка жила дома, ей постоянно грозил отец, теперь, я знаю, угрожает кто-нибудь другой. Ничего не поделаешь, такая, значит, судьба.

— Не будем преувеличивать опасности, — тряхнула белокурой головкой Соня.

— Ну, какой из тебя воин? Тебе бы вышивать, читать книжки, замуж готовиться.

— Мама!

— Что — мама? Я правду говорю. Вон, к Марише хороший человек сватается.

— Пусть сватается, — совсем по-девичоночь ответила Соня, но сразу изменила тон. — Любит ее?

— Любит.

— А она?

— Что она? Стерпится — слюбится.

— Всегда ты так, мама! — повысила голос Соня, и Сергей почувствовал, как должен был ударить по нервам матери ее изменившийся тон. — Не слюбится! Ты всю жизнь терпела. Зачем же и Маше такое?

— Не знаю, Сонюшка, не знаю, — сдерживала слезы мать, — так хочется, чтобы у вас все было хорошо... Если бы отец был другим, и ты никуда б не ушла.

— Нет, мама, — опять ласково, словно уговаривая ребенка, возразила Соня. — Я ведь тебе уже объясняла. Отец только усугубил. Но неужели ты думаешь, я бы могла спокойно жить во всей этой роскоши, когда кругом...

— Я вот могу, — поникла мать.

— Я тебя и не виню ни в чем. У тебя жизнь сложилась по-другому.

— Да, по-другому, — как эхо откликнулась мать, — но я так люблю тебя, доченька, и так боюсь тебя потерять.

Скрипнула дверь.

— Вы просили напомнить, — сказал швейцар, — его превосходительство скоро вернутся.

— Да, да, спасибо, Матвей, ступай.

— Ну вот, пора уходить, — Соня поднялась, расправила складки платья.

— Я вас и чаем не угостила, — сокрушалась мать, — расстроилась я нынче. Ты не сердись на меня, Сонюшка.

— В другой раз попьем. Сергей Михайлович, я знаю, чай любит. Не хворай. Будь молодцом. Машу поцелуй.

— Дай я тебя поцелую.

Она притянула к себе пушистую голову Сони.

— До свидания, Сергей Михайлович. — Она пожала руку Сергея слабой ладонью. — Я очень рада, что познакомилась с вами.

Сергей молча поклонился.

На улице, когда Сергей и Соня отошли от подъезда, к дому мягко подкатил крытый экипаж.

— Не оглядывайтесь, — приказала Соня, взяла Сергея под руку и быстро свернула с ним в ближайший переулок.

* * *

«Сколько несчастных, изломанных судеб! — думал Сергей. — Что можно сделать для этой женщины? Никакое счастливое замужество старшей дочери не избавит мать Сони от постоянной муки. Но разве мы в этом повинны? Наступит ли когда-нибудь на земле время, когда будут безошибочно карать подлинные причины людских страданий?»

Сергей все чаще обращался в мыслях к своей матери. Он упрекал себя в том, что мало писал ей, что за последние два года ни разу не заехал домой.

Его матери тоже не сладко. Правда, с отцом они живут хорошо... Сергей тут же усмехнулся: «Хорошо...» Разве забыть ее лицо во время расставаний! Каждый раз, каждый год, встречаясь с ней после долгого перерыва, он замечает в ее лице маленькую, печальную перемену. А сейчас вот отчетливо вспомнил, какой молодой и красивой она была тринадцать лет назад, когда он впервые уезжал из дома на учебу.

У отца в кабинете висит ее акварельный портрет. Художнику удалось передать очень типичное для нее выражение затаенной грусти, доброты и усмешки. Глаза на этом портрете всегда смотрели прямо в душу Сергея. Он и любил его и, можно теперь признаться, побаивался в отрочестве из-за этого пристального взгляда.

Проходили годы, лицо матери старело а портрет не менялся.

Вспомнилось, как несколько лет назад мать подарила ему новую скрипку.

Отец не одобрял этого, странного для военного человека увлечения. А мать сама в летние месяцы занималась с ним.

Для Сергея в этой скрипке целый мир. Звуки помогали ему воскрешать в памяти самое близкое и дорогое. Если он утром хотя бы на пять минут не прильнет к своей скрипке, день проходит вяло, без вдохновения. Это трудно объяснить. Но ясные и чистые звуки скрипки всегда приводят его душу в необходимую для четкой работы настроенность.

Вечерами иногда заглядывает к нему Феликс Волховский. Сергей играет украинские песни.

Волховский слушает молча с печальным и строгим лицом.

О чем он в этот момент думает? О народе, который создал прекрасные мелодии? Об украинских степях, по которым он, как и Сергей, тоскует здесь в Петербурге? О своих родителях — небогатых дворянах, живущих в степном имении неподалеку от Полтавы? Трудно сказать. У каждого из нас, помимо общих дел, свои заботы и воспоминания. У Феликса, у Сони, у Леонида, у Дмитрия, у Петра...

* * *

Петр Кропоткин недавно появился среди чайковцев. Он был аристократ, из колена Рюриковичей, из легендарной старины, и в силу этого обстоятельства (как шутил Волховский) имел больше прав на русский престол, нежели сидевшие на нем господа Романовы. Но Петр Кропоткин страшно сердился, когда друзья даже в шутку величали его князем.

В кружок он подал обширную «записку», где писал, что царское правительство надо безжалостно уничтожить и что вообще всякое правительство вредно, а в будущем само общество — свободные общины крестьян и рабочих — станет управлять всеми своими делами.

— Ну, хорошо, — говорил Сергей, — я думаю, ты прав. Когда дело касается одного человека или нескольких людей, вмешательство правительства бессмысленно. Но если на страну нападёт враг? Что мы тут поделаем с общинами без армии? А ведь армия — элемент государства.

— Очень просто! — Кропоткин довольно поблескивал темными глазами. — Вооружается народ. Понимаешь, весь народ, как один. Я видел во Франции. Если бы не вооруженный народ — немцы раздавили бы Францию за неделю.

— Но там была армия?

— Нет, народ. Весь народ, я же тебе объясняю.

— Но он был как-то объединен, кто-то направлял его?

— Свободно выбранные люди.

— Значит, руководители были?

— Были. Но когда опасность отбита, армия должна распускаться.

— Но во Франции этого же не случилось.

— Там обстоятельства оказались сильнее. Немцы и своя буржуазия объединились против Парижа.

— Против Парижской коммуны?
— Да, против Парижа рабочих.
— А Парижская коммуна — это, по-твоему, тоже феде-
рализм?

— Нет, в Париже было правительство. Но недостаточ-
но крепкое.

— Ты сам себе противоречишь.

— В чем?

— Ты признаешь, что в Париже требовалось даже не
простое правительство, а крепкое? И тогда бы рабочие
устояли против своих врагов?

— Я же тебе объясняю, — горячился Кропоткин, и на
его высоком лбу от переноса вырастали сердитые мор-
щины, — в Париже случай был особый. Да и то, я уве-
рен, со временем надобность бы в правительстве рабочих
отпала.

— Тебе не кажется, — прищурился Сергей, — что в
истории каждый случай особый?

* * *

Кропоткин читал лекции рабочим, привлекая все боль-
ше и больше людей, но почему-то нимало не беспокоился
о том, что его кружок существует в опасных условиях.

Эта близорукость в конце концов и сыграла с ним злую
шутку.

Сергей знал каждого рабочего в своих кружках. Кро-
поткин имел смутное представление о том, кто слушает его
лекции. А слава о ярком агитаторе росла с каждой неделей.
Рабочие его любили: говорил он все-таки чертовски
хорошо.

Однажды к Сергею пришел Халтурин и сказал:

— Предупредите Петра Алексеевича. Сегодня пусть не
приходит.

— Что-нибудь случилось? — спросил Сергей.

— Кто-то наболтал жандармам.

— Значит, наступает и наша очередь? — Сергей по-
смотрел в холодноватые глаза Степана. — А у вас как?

— Пока тихо! Но я на своих фабричных могу поло-
житься.

Сергей почувствовал в его словах упрек кропоткинской
беспечности.

— Вы не беспокойтесь, — сказал он, — я сегодня же с ним повидаюсь.

Халтурин не стал посвящать Сергея в то, откуда у него эти сведения. В его отношениях с рабочими было нечто такое, что он ревниво оберегал от своих друзей-студентов. Сергей и не допытывался. Он верил Степану. Тот не стал бы с бухты-барахты поднимать тревогу.

Кропоткин на очередную встречу не пришел. А Волховский, совершивший прогулку в районе известной квартиры, наткнулся на фигуру серой наружности, которая, как и он, не спеша фланировала по улице.

Но жандармы были настойчивы. Через некоторое время в Гостином дворе с Кропоткиным поздоровался один из его слушателей, увязался за ним и на улице подозвал городского.

* * *

Провал Кропоткина больно отозвался на всех чайковцах.

— Надо оставлять город, — стала убеждать Соня, — мы сделали здесь все, что могли.

— Нет, — возражал Сергей, — далеко не все. Спросите Степана, много ли рабочих к нам ходит?

— Это не меняет дела, — новая мысль уже владела Соней, она упорно навязывала ее друзьям. — Десять кружков, двадцать, тридцать... Это капля по сравнению с остальной Россией. Надо идти в деревню. Здесь мы со всех сторон окружены врагами. Нас перехватывают, как щенят. Усилий мы тратим уйму, а результат мизерный.

— В деревне, по-вашему, у нас не будет врагов? — не сдавал позиций Сергей.

— В деревне все можно сделать иначе. Здесь мы прячемся, там будем жить открыто.

— Вы плохо знаете деревенские нравы.

— Знаю, — нимало не смутилась Соня. — Если вы пожелаете туда дачником, вы чужак. А если я, например, приеду акушеркой, поверьте, и отношение ко мне будет иное.

— Любопытно, — ему понравилась ее мысль, — а что вы подберете мне?

— Вам бы подошла роль бродячего бондаря.

— Почему бондаря? — удивился Сергей.

— А вы такой крепкий, головастый, — смеялась Соня, — я очень хорошо представляю, как вы сидите в сарае и гнете доски для сорокаведерных бочек.

— Вы знаете, как делают бочки? — хохотал он вместе с ней. — Но вы ошибаетесь. Я лучше определюсь волостным писарем.

— Писарем — это неплохо. Но нужна рекомендация, а главное — писарь из вас не получится. Вы долго не усидите на одном месте.

— Это верно. Не усижу, — перестал смеяться Сергей. — Значит, вы предлагаете на время оставить Петербург?

— На время? — переспросила Соня. — Посмотрим. Вы же сами видите, какие обстоятельства. А пойти в деревню нам рано или поздно все равно бы пришлось.

* * *

До Твери ехали вчетвером — Кравчинский, Волховский, Клеменц и Рогачев. Дальше всех следовал Волховский — через Москву и Киев в Одессу, там у чайковцев была группа единомышленников.

В вагоне третьего класса было жарко и смрадно. Фонарь дрожал под потолком, высвечивая, как на картинах Рембрандта, медно-красные руки, багровые носы и лбы. Все остальное пряталось в зыбком полумраке. Перед остановками хлопала дверь, и кондуктор выкрикивал название станции. В вагоне начиналось ворочанье, переругиванье; волочили тяжелые предметы по полу.

Это был какой-то полуреальный, словно приснившийся мир. Он должен был развеяться с утренним криком петуха, с первыми лучами солнца, как пропадают с приходом дня дьявольские наваждения, которые терзают всю ночь человеческую душу.

Но, в отличие от неосязаемых снов, в мутном вагоне жила земная, человеческая речь. Она ломала сон. То смешила, то пугала, то радовала Сергея.

Соседи в большинстве своем садились в вагон ненадолго и выходили через несколько остановок. Но за это время почти каждый успевал оставить по себе нестойкую память, которая смывалась рассказом следующего — о своей заботе, о своей морoke. А если не рассказом, то короткой

репликой, и она подчас вмещала в себя столько людского горя, что у Сергея сжималось сердце.

«Вот она, Россия, — размышлял он, — третий класс, трудящееся население. Даже ночью ему нет покоя. Люди ищут хорошей работы, доброго к себе отношения, сытой жизни.

И все едут куда-то, и всех лихорадочно трясет, как этот проклятый тесный вагон».

Сергей слушал, Рогачев и Волховский дремали, Клеменц, словно на дежурстве, каждого нового пассажира встречал то шуткой, то приветливым словом, вызывая на разговор и сам не скупясь на бойкий рассказ. Клеменц был неутомим. Говорил он так, что его легко можно было принять за речистого подгородного мужичка, балагура и сказочника.

«Вот кто бы мог увлекать за собой людей!» — думал Сергей, наблюдая, с какой естественностью владеет народной речью этот европейски образованный человек. У него был ключ к простым сердцам. Случайные попутчики доверчиво делились с ним сокровенным.

В слабом свете керосиновой лампы блестел его мудрый лоб, монгольский нос.

Лицо у Клеменца было необычным и привлекательным. Нижняя часть — от киргиза: широкие скулы, красивый рот в кольце свисающих усов и бородки. Широкий лоб и карие глаза были полны ума и принадлежали европейцу. Он скашивал хитрые глаза на Сергея, словно подзадоривал: вот, мол, как надо, учись; что ты все молчишь, как бука?

В Твери Сергей спросил:

— Ты не пробовал писать?

— Что писать? — поднял брови Клеменц.

— Для народа. У тебя должно получиться. Я заслушался тебя в вагоне.

— Фу ты.

— Да, ты не фыркай. Я ведь не комплименты говорю. Вся наша агитационная литература скучна, сам знаешь. Плохо ее принимают. Надо самому пересказывать. Вот если, как ты говоришь, написать, — чудно будет. А? Возьмись за это дело.

— Пробовал я, — насупился Клеменц, — ничего не получается.

— А ты еще раз попробуй.
— Бесполезно. На бумаге у меня ничего не выходит. Спотыкаются слова, черт их поberi! Не мое это дело.
— А чье же?
— Откуда я знаю, чье? Может быть, твое. Ты-то сам не пробовал?
— Нет.
— Вот и рискни.
— Да, книжки нам позарез нужны, — сказал Волховский.

* * *

Клеменц задержался в Твери с Ольгой Натансон, той высокой девушкой, которая в первую встречу Сергея с чайковцами распорядилась у стола и которая выехала на неделю раньше подготовить (говоря конспиративно) почву.

Ольга была умница, везучая, ей доверяли самые разные люди. Хотя она сама для этого, казалось, ничего особенно не делала. Просто заговаривала с человеком своим мягким голосом, просто смотрела кроткими, понимающими глазами. От всей ее высокой фигуры веяло спокойствием и добротой. Она никогда не спешила, двигалась плавно, даже с ленцой, не вызывая подозрения у полицейских. Они приносили Ольгу за дочь провинциальных дворян.

Она-то и узнала от одного мужика из артели тверских плотников, что их деревня который уж год тягается с соседним помещиком из-за сенокосных угодий, да грамотного человека нет, кто бы мог честно помочь. Ольга пообещала познакомить их с таким человеком.

В деревню эту должен был отправиться Клеменц.

А для Димитрия и Сергея Ольга приготовила другое...

Когда проводили на московский поезд Волховского, Ольга повела их в трактир.

— Александр Ярцев, — представился им здоровячок, с румяными щеками и совсем не идущими к ним безжалостными залысинами. Говорил он торопливо, словно боясь, что его остановят: — Я уже все-все знаю и сочувствую. Оля ввела меня в курс. Я давно ждал встречи. Между прочим, вышел в отставку подпоручиком. Мы с вами люди военные и мешкать не будем. Я предлагаю ехать ко мне, там на месте решим.

— А что, собственно, решим? — Видно было, что даже

Димитрий слегка опешил от этого натиска и так же, как Сергей, мало что понял.

А Ольга стояла и, довольная, посмеивалась.

— Александр Викторович купил имение, — объяснила она, — и хотел бы продать его крестьянам.

— Да-да, — заторопился Ярцев, — вы можете сами посмотреть.

Затем выяснились прочие обстоятельства.

Отставной подпоручик артиллерии купил имение, заплатив часть деньгами, а на пять тысяч рублей выдав вексель. На своей земле он собирался начать новую жизнь «трудами рук своих», как он выразился, — пахать, косить, как простой мужик, и прочее. Судя по всему, он весьма смутно представлял себе, как образуется эта его новая жизнь, но горел энтузиазмом и уговаривал Рогачева и Кравчинского присоединиться.

— Кабала, — хмыкнул Рогачев.

— Почему же? — Ярцев удивился.

— Вы ведь должник. А деньги надо отдавать, рано или поздно. Значит, из имения вы будете выколачивать деньги и, заметьте, наемным трудом.

— Но мы же сами тоже станем работать.

— Это ничего не меняет.

— Что же вы предлагаете? — расстроился Ярцев.

— Разделите всю землю между крестьянами.

— А как же долг?

— Очень просто. Если вы не можете подарить им эту землю, продайте на выгодных условиях. Они вам и за это спасибо скажут. А себе оставьте ровно столько, сколько в состоянии обрабатывать сами.

— Но я полагал, что и вы захотите... Мы могли бы взять из этой земли три или четыре тягла... Вместе вообще веселее.

— Нет, — сказал Сергей, — мы попробуем для начала простыми работниками. Нам надо попривыкнуть еще к крестьянской жизни. Да и подучиться кое-чему.

— Например?

— Косить, пилить-колоть дрова...

— Это мы устроим.

Ярцев представлял собой довольно частую в России смесь энергии, порывов и почти полного отсутствия необходимых знаний для деятельности.

«Каким образом коснулись его благородные идеи века, в конце концов неважно, — думал Сергей. — Главное, он хочет работать. Со временем, кто знает, может быть, из этого чудака выйдет дельный работник».

* * *

Возле неказистой избенки Ярцев сказал:

— Если он дома — через три дня вы будете мастерами. Хозяин, на счастье, был дома.

Он оказался высоченным, светлоглазым мужиком лет тридцати.

Выходя из своей избенки, он нагнулся, чтобы не стукнуться о притолоку лбом.

Звали мужика Петром.

На солнце Петр долго жмурился, зевал, сказал, ни к кому не обращаясь, «погоди» и побрел к колодцу.

Он долго пил прямо из ведра, проливая воду на бороду и расстегнутую на груди рубаху, а Ярцев тихо говорил:

— Золотой человек. Работник, каких мало. И плотник, и каменщик, и вообще...

— Научиться, значит, мужицкому ремеслу? Добро, — сказал Петр и повел Сергея с Димитрием к сараю.

Объясняя и показывая, он окончательно стряхнул хмельную соню.

— Ну-ка, теперь вы, значит, попробуйте, — сказал Петр и отдал топор Димитрию.

Тот поплевал на руки, истово замахал топором.

Петр поглядел, как он колет, остановил:

— Добро. Сила в тебе есть. Сноровка прибудет. Топор надо по руке. Топорище у меня найдется, сам заготавлил, это дело особое, а вот за лопастью надо в лавку идти. Тебе топор да тебе топор — два топора. Да два колуна — у колуна обух потолще. Две пилы еще справить надо. Тоже в лавке, у купца. Смекнули?

— Смекнули.

— А когда так... — Петр замылся, замолчал, а потом с какой-то отчаянностью рубанул своим кулачищем воздух. — А я бы в лавку-то сбегал, заодно уж, начало отметить... опохмелиться... Голова трещит, ей-богу.

Сергей с Димитрием, не сговариваясь, полезли в карманы за деньгами.

Петр обернулся проворно, словно лавка была не на другом конце деревни, а тут же за плетнем. Не удивился, когда его ученики отказались выпить с ним, нимало не смущаясь, налил водку в граненый стакан, залпом выпил и долго стоял, уставившись в одну точку.

— Отчего тебя так к вину тянет? — не удержался все же Сергей.

— Отчего? — задумался Петр. — Кто же его знает? Может, с копейки.

— С какой копейки?

— Да все с нашей, с мужицкой.

— Все равно не понимаю, — сердито сказал Димитрий.

— Где же понять? — Петр с ухмылкой вертел стакан в корявых пальцах. — Заработаешь горбом эту копейку, а ее тут же и отберут.

— Кто?

— Становой, поп, кулак. Их много, кто мужицкую копейку любит.

— Поэтому — лучше в кабак?

— Ты походи, мил-человек, в мужицкой шкуре, тогда поймешь, что лучше.

— Вот мы и хотим это сделать.

— Чудно, — с любопытством, но без насмешки разглядывал их Петр, — мужики, которые побогаче, в баре лезут. А баре, значит, — в мужики? Плохо, что ли, вам было? Не пойму.

Петр, склонив голову, остро смотрел из-под густых бровей.

— Это как понимать плохое житье, — заговорил Димитрий. — Не всякий согласен по-скотски жить. Мы вот с Сергеем не согласны. Поэтому и решили идти к вам, к мужикам, и научить вас жить лучше.

— Как же это вы научите? Меня, к примеру?

— К примеру, так: не отдавай свою копейку ни попу, ни кулаку.

— Эх! — крикнул изумленно Петр. — Так вот просто и не отдавать?

— Так вот просто и не отдавать.

— Да ведь я кто? — вдруг с озлоблением выкрикнул Петр. — Мужик! Мужик я! А у попа, да кулака, да станового — сила! Поротым, думаешь, охота быть? А как растянут тебя в волости да выпорют... Эх, тьфу, — Петр не

находил себе места, — жене, ребятишкам в глаза совестно глядеть. Тебя небось не пороли? Да порка еще не самое страшное. А как в Сибирь по этапу?

— Одного тебя и растянут и выпорют, — невозмутимо сказал Димитрий, — один ты против них — ноль. А всей деревней — вы уже сила.

— Сила, — сплюнул Петр, — и эту силу поломают. У нас андрюшинцы бунтовали, как манифес выходил: им вместо земли болото нарезали. Так солдат пригнали, цельную роту. Ать-два... Сила.

— Значит, надо всем деревням объединиться.

— Не бывает такого.

— Как не бывает? — сказал Сергей. — Бывало: и при Разине, и при Пугачеве.

— Вон ты куда, — протянул Петр, — смелый ты человек. Да все равно начальство верх брало.

— А почему брало?

— Известно, почему... — неопределенно развел руками Петр.

* * *

Сергей смотрел на звезды сквозь прореху в соломенной крыше. Сто лет, кажется, не лежал на сеновале. Но стоило забраться сюда по колченогой лестнице, сладко вытянуть ноги и раскинуть на мягком сене тяжелые, уставшие руки, как залопотало еле слышно детство, такое далекое, такое смешное...

Из головы не выходил разговор с Петром. Проклятая копейка, из-за которой мучился хороший человек, не давала покоя. В словах загнанного нуждой мужика она вырастала до размеров необоримого чудища. Копейка сулила мужику безбедную долю, но — приносила неудачу и разорение. Она переставала быть простой, осязаемой медной деньгой, а превращалась в символ.

Если рассказать об этой копейке по-сказочному просто, то такой рассказ все поймут, самые темные мужики поймут. А ведь вокруг этой копеечки многое можно намотать. Опять же — как в сказке.

В самом деле, почему бы и не попробовать написать сказку об этой самой мужицкой, заскорузлой копейке, которую крестьянин своим горбом добывает и которую отнимают у него все, кому не лень. Сюжет можно раскрутить

самый веселый, и смыслу в нем будет не на копейку, а на целый рубль.

«Но сумею ли я?» — сомневался Сергей. Никогда до этого ничего подобного он не писал. Правда, вкус к слову в нем жил всегда. Он любил находить самые точные и выразительные слова еще в школе и в училище...

Однажды он составил отчет о стрельбах в таких выражениях, что вывел из себя ротного командира. «Что вы подали, юнкер? — клокотал тот. — Это не рапорт, а черт знает что — ноктюрн какой-то... «Ориентиром служил перст колокольни... Пушки злобно огрызались...» Что это такое, я вас спрашиваю? Пушки не огрызаются, смею вам заметить. Пушки стреляют! Это вам не собаки. Вы поняли, юнкер?» — «Так точно, господин капитан!» — без всяких ноктюрнов, по уставу, но довольный ответил тогда Сергей.

Да, слова ему иногда подчинялись. А научиться распоряжаться ими по-своему усмотрению не так-то просто. Это он тоже по себе знает. Потруднее, пожалуй, чем стрелять из пушки...

Сергей лежал с раскрытыми глазами и придумывал одну за другой истории, которые могли бы приключиться с этой самой копейкой.

Она была главной героиней его сказки — крохотная, потертая, щербатая, еле видная в заскорузлых мужицких пальцах. А мужиком был, несомненно, Петр — добряк, трудяга, но горемыка и бедняк беспросветный. И был еще поп, с жадными зенками. И становой, вроде щедринских градоначальников. И много-много всяких русских людей, которых незаметная копеечка забирала в свой хоровод.

Сергей так и заснул со своей сказкой, а над ним, и над Димитрием, и над Петром, который спал в избе, и над всей деревней, над всей Россией мерцали в ту ночь звезды, словно светлые копеечки, неизвестно зачем и для кого заброшенные в темное небо.

* * *

Солнце утром просунулось в щелку между стропилами и соломой, нашарило чью-то щеку и пощекотало ее лучом.

Димитрий заворочался, открыл глаза.

Сергея рядом не было.

Проморгавшись, Димитрий полез по лестнице вниз и во дворе увидел друга.

Поджав ноги, тот сидел у чурбака, на котором они вчера учились колке дров.

Давно, с юнкерской поры, не видел Димитрий такого блаженно-сосредоточенного выражения на лице Сергея.

«Ах ты, черт-мозговик, — тепло подумал Рогачев, — все бы тебе над бумагами корпеть, ума набираться. Когда же это его с сеновала сдуло?»

Медленно ступая босыми ногами по влажной траве, он подошел к Сергею и заглянул в листки на чурбаке.

Сергей не зыркнул, как бывало, сердитыми глазами, наоборот, отодвинулся, чтобы Димитрию лучше было видно.

«Правильное, братцы, житье было на Руси, — читал Димитрий знакомый буреломный почерк, — когда не было на ней ни господ, ни попов, ни купцов толстопуzych».

— Это что? — спросил Димитрий.

— Ты читай, читай, — довольный, подзадорил его Сергей.

Димитрий опять зашагал по бурелому:

«Да только не долго так было, рассказывают старики, потому увидел черт, что одолевает его мужик: нет на земле ни обмана, ни воровства, ни грабительства... И стал черт думать крепкую думу: как бы ему испортить род человеческий. Семь лет думал черт, не ел, не пил, не спал... и выдумал — попа. Потом еще семь лет думал и выдумал — барина. Потом еще семь лет думал и выдумал — купца».

— Ну как? — не утерпел автор.

— Занятно. А дальше что?

— Дальше — известное дело: напустил их черт на мужика. А мужик, вместо того чтобы им башку свернуть, пока не расплодились, одел их, напоил-накормил и на шею себе посадил.

— Похоже на правду, — заметил Рогачев, — и складно получается.

— Я и думаю сказку написать, — обрадовался Сергей.

— Какую же сказку?

— О копейке.

— Вон что. Ну-ка, расскажи.

Димитрий забыл, что надо бы сбегать на речку выкупаться, стоял рядом с Сергеем, шевелил пальцами ног в траве. Дослушав, спросил:

— Ты ее долго писать будешь?

— Как получится.

— За неделю надо, — заявил Димитрий. — Как, по-твоему, Ярцеву можно доверять?

— Мы и так ему много доверили!

— Вот именно. Попробуем у него устроить типографию. Мы же давно прикидывали, где бы ее спрятать. А тут в доме хороший погреб, я смотрел. Ярцев по делам часто в Тверь ездит; мог бы спокойно возить литературу.

— Ты так думаешь? — сомневался Сергей.

— Бесспорно! Кончишь свою сказку, я подготовлю погреб. Напишем в Петербург, перевезут станок. Первая книжка — твоя сказка. Я сам буду набирать. Ну что, хорошая идея?

— Мою-то сказку не обязательно первой. И получится ли еще...

— Ишь ты, скромник. Не боги горшки обжигают. А теперь давай освобождай чурбак, размяться надо.

Димитрий поднял с земли топор, поставил на чурбак полено, поплевал на ладони:

— Мы все можем, только не можем в часах топором размахнуться!

Вскинул топор над головой и с треском раскроил березовое полено.

* * *

Через три дня учитель благословил своих учеников.

— Одежонку вам подходящую справить надо, — посоветовал Петр напоследок, — эту скиньте.

Армяки, лапти достал Ярцев, а еще через пару дней из деревни Андрюшино по проселочной дороге вышли на приволье два мужика, с пилами, завернутыми в рогожу, с топорами за спиной, заткнутыми за веревочные пояса.

Мужики были молодые, шли ходко, а как зашли в первый по дороге перелесок, лихо запели:

Как под лесом, лесом шелкова трава,
Ой ли, ой ли люшеньки, шелкова трава!

В деревню Петровку они вошли тихо, как и положено мужикам-работягам, выбрали избу с крепким плетнем да тесовой кровлей и постучали.

Как следует поторговавшись с хозяином, они стали к нему на работу, и до самого вечера во дворе раздавались взвизги пилы и хряск топора.



Вечером работники отправились на посиделки.

Ничего необычного в этом тоже не было: ребята они были молодые и, видать по всему, неженатые. Один из них здорово плясал. Никто из деревенских плясунов не мог с ним потягаться. Но все обошлось аккуратно, пришлые парни знали этикет, и ни один из них не набивался в провозжатые к местным красавицам.

На второй день они работали у зажиточного мужика Василия Козлова. Отработав, на посиделки не пошли, а завернули к другому крестьянину, Макару Власову, мужику небогатому. Как они с ним сговорились, никто в деревне не знал, да это никого и не занимало.

Макар был известный всей деревне книгочей, не пропускать ни одного коробейника, и последний нужный в хозяйстве грош мог пустить на какую-нибудь картинку или книжку. За это в деревне над ним посмеивались, но за грамоту и за то, что с самим волостным писарем мог вступить в пререкания, уважали. Короче говоря, вечером у Макара в избе собралась компания: человек десять деревенских и пришлые.

Тут вот местные мужики и подивились. Никогда раньше таких разговоров они не слышали — про то, что в России вся жизнь скоро переменится, не будет в ней ни чиновников, ни помещиков, ни самого царя...

Под конец большеголовый парень вытащил из мешка тетрадочку и стал читать забавную сказку про копейку —



и все в той сказке было по правде: и как мужик потом кровью добывал себе эту копейку, и как тут же ее лишался. И поп, и помещик, и становой были как живые. А когда парень веселым голосом читал про то, как становой спасался от мужика, свалился с лошади, лежал, помирая со страху, а собаки подбежали к нему, подняли лапки и обошлись по-своему, а становому почуялось, будто он кровью истекает, — такой хохот сотряс воздух Макаровой избы, что она, казалось, вот-вот разлетится по бревнышкам.

* * *

Так и пошла одна деревня за другой — где получше, где похуже, но всюду была работа, всюду, хотя порой и настороженно, их слушали.

До поздней осени ходили друзья по деревням, и Сергей даже задумал и начал сочинять еще одну сказку.

В конце ноября завернули в большое село Алферово.

Вечером, когда Димитрий и Сергей располагались на ночлег, в избе объявился волостной старшина, крепкий мужик в суконном кафтане, деревенский староста, тоже представительный и немолодой, и мужчина помоложе, на вид полудеревенский, полугородской, как потом выяснилось — волостной писарь.

Старшина перекрестился на иконы, густо поздоровался с хозяевами, сел на лавку и без обиняков спросил:

— Вы, стало быть, народ смущаете?

Сергей с Димитрием переглянулись, ничего не ответили, но смотрели так, что всем своим обликом выражали почтение начальству.

— Книжки читаете, — сказал староста.

— Мы по дровяной части, — с оттенком недоумения подал голос Димитрий.

— А вид у вас есть?

Показать бумаги, выданные в столичном полицейском участке отставным поручикам артиллерии, а ныне петербургским студентам, значило враз провалиться. Но и выкручиваться тоже было надо.

Впервые Сергей пожалел о том, что не запаслись фальшивыми паспортами. Такой паспорт — это уже обман, а обман им претил.

«Как все это условно, — сердился на себя Сергей, не торопясь отвечать старшине. — Нарядились же мы мужиками. Надо уж было рисковать до конца. Хотя, что бы это дало? Все равно притянули бы к ответу. Такой вот дядя за здорово живешь не отпустит. Ни дать ни взять сам Саваоф при исполнении служебных обязанностей да при двух архангелах».

Такое сравнение рассмешило Сергея, и он с подкупающей улыбкой развел руками:

— Тамбовские мы, Моршанского уезда, Витьевской волости. Я Сергей Грибов, а напарник мой — Митрий Рыбачев. Из одной деревни мы, шабры.

— Документ у тебя спрашивают, — ткнул его без церемонии писарь.

— Не выправили мы, — поклонился старшине Димитрий, — не успели. Такой грех вышел.

— За грех отвечать надо, — заметил староста.

— Это точно, — вздохнул Сергей.

— Собирайтесь, нечего растабарывать, — приказал старшина.

— Куда? — все еще прикидывался простачком Димитрий.

— На съезжую. Там разберемся.

Можно было, понятно, отпихнуть и старшину, и старосту (про писца и говорить нечего) — а за дверью темная осень и лес, но Сергей с Димитрием, не сговариваясь, подчинились приказу. Сейчас побег повредил бы им во

мнении мужиков. Пошел бы слух, что пропагандисты — злоумышленники, раз при первой встрече с начальством дали деру. Надо было вести себя достойно: сегодня же всей деревне станет известно об аресте, и сам арест обернется в их пользу.

Их заперли сначала в этой же деревне, в Алферово, в поповской бане, поставив на ночь стражу из местных бородачей. А на следующий день под лапотным же конвоем (но при старшине и старосте) препроводили в соседнюю деревню, где была съезжая изба, специально выстроенная для провинившихся мужиков.

Последним этапом мог быть только стан, полицейские власти и каталажка посерьезней. Там, не сомневались арестанты, с ними поступят круче и в конце концов дознаются, кто они такие.

* * *

Димитрий потряс решетку и усмехнулся:

— Один рывок — и гуляй.

— Ты уж не трогай до поры, — попросил Сергей, — сиди тихо.

— Тут и уснуть недолго, — проворчал Димитрий, растягиваясь в углу на охалке сена. — Помнишь нашу кутузку?

Да, здешняя изба не шла ни в какое сравнение с гауптвахтой, на которую сажали юнкеров. Там были деревянные нары, а здесь мужики натаскали сена и можно было в самом деле неплохо отоспаться за ночь.

— Старик мне предсказывал, что я плохо кончу, — улыбнулся Сергей, вспоминая давний разговор с начальником училища, генералом Платовым, которого юнкера окрестили не без симпатии Стариком.

— Он к тебе благоволил, — заметил Димитрий.

— Если бы не Платов, неизвестно еще, как бы мы дотянули до конца.

— Преувеличиваешь.

Но Сергей знал, что прав он, а не Димитрий, ведь Платов нередко многое брал на себя. Как в тот раз, незадолго перед выпуском, когда вызвал Сергея к себе на квартиру...

Платов грузно сидел в кресле.

— Ну, что у вас там? — проскрипел он, устало махнув старческой ладонью.

Он смотрел на Сергея выцветшими глазами и почему-то

не раздражался от того, что Сергей стоит перед ним мешком и не торопится отвечать.

— Садитесь, юнкер, — так и не дождался ответа генерал и кивнул на свободное кресло, — садитесь. Опять на вас жалоба.

— Меня не в чем обвинить, — буркнул Сергей.

— Э-э, голубчик, всегда отыщется предлог, особенно когда молодые люди собираются вместе, варят пунш и произносят горячие речи. Я ни о чем не расспрашиваю, — Сергей увидел в старческих глазах живую искру, — хочу предостеречь от ошибки. Сколько вам лет?

— Девятнадцать...

— Славный возраст... Мне было девятнадцать в двадцать пятом году.

— Когда? — переспросил Сергей.

— В тысяча восемьсот двадцать пятом, — повторил генерал. — В ту пору все фрондировали. Да, признаться, и оснований-то имелось более, нежели нынче. Аракчеев, крепостные мужики... Рылеева мы заучивали наизусть:

Надменный временщик, и подлый, и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей...

Платов декламировал с пафосом, но вдруг закашлялся; то ли кашель прервал декламацию, то ли стихи, опасный смысл которых проник в генерала заново, заставили маскироваться кашлем.

Словно отгадав мысли Сергея, Платов усмехнулся:

— Молодости простительно. Я был корнетом и не отставал от друзей ни в чем. Но некоторые занесли слишком далеко... «И на обломках самовластья напишут наши имена!» Эхх... — Генерал опять закашлялся, кажется, стихи и впрямь застревали у него в горле. — О существовании общества я услышал на следствии. Я не чернил своих однополчан. Военный всегда должен говорить правду, юнкер. Это наша честь.

— Честь, — обозлился Сергей, — когда войска усмиряли Польшу, это тоже называлось честью?

— Вы на опасном пути, Кравчинский, — печально вздохнул генерал.

— А те, с кем вы служили сорок пять лет назад в одном полку, разве были не на опасном?



— Но они же ничего не добились, — всплеснул руками старик. — Неужели вы хотите увеличить число мучеников?

— Россия за это время тоже кое-чему научилась.

— Глядя на вас, я бы этого не сказал.

— У меня еще все впереди.

— В один момент все может остановиться, и никакого «впереди». Из вас получится неплохой офицер. Мне было бы жаль, если все пойдет прахом.

— Этого не произойдет, ваше превосходительство, — как можно мягче постарался сказать Сергей.

— Во всяком случае, будьте осторожны. Не доводите до рапортов начальству. Может случиться, что какой-нибудь рапорт минует меня — и тогда... Поверьте моему опыту. Я многое перевидал на своем веку...

Любопытно, что бы сказал Старик, увидев своих выпускников за решеткой деревенской каталажки? Уж наверняка пожалел бы, что его предсказания оправдались.

Сергей встал, подошел к окну.

В ночной темноте смутно проступали очертания высокого амбара. Деревья негромко шумели под осенним ветром. Деревня уснула. Даже собаки перестали тявкать.

— Пора, — сказал Сергей.

Решетку они вырвали со второй попытки, аккуратно положили на пол и вылезли в окошко.

До рассвета без остановки Сергей и Димитрий шли к Торжку. На день спрятались в лесу, а вечером в сумерки прокрались в Андрюшино. Надо было предупредить Ярцева и, может быть, несколько дней пересидеть у него, пока полиция будет рыскать в округе.

Возле дома стоял чей-то шарaban.

— Подождем, — сказал Димитрий, — если бы ночевать хотели, распрягли.

Но ждать, когда не знаешь сколько, неведомо. Димитрий остался лежать в кустах, а Сергей пробрался к освещенному окну. Возле самого окна сидел незнакомый Сергею человек, а напротив стоял Ярцев.

Придвинувшись к стеклу, Сергей услышал разговор.

— Не беспокойтесь, — говорил незнакомец, — ваше чистосердечие оценят.

— Сам не знаю, как получилось, — лицо Ярцева выражало страдание.

— Ну, ничего, — успокаивал его незнакомец, — изложите письменно.

— Так вы меня не увозите с собой?

— Зачем же? — Сергей уловил в голосе незнакомца усмешку, — живите себе спокойно. Только не отлучайтесь из имения.

— Я вас понимаю, — с отчаянием сказал Ярцев, — но прошу вас, не требуйте от меня этого.

— Вы хотите усугубить свою вину? Не будьте наивны, Александр Викторович. Да вас никто и не заподозрит. Мы вас щадим — ареста в вашем доме не будет, я вам обещаю. Но, как говорится, услуга за услугу. Вы просто узнайте у этих господ, куда и какими путями они направляются дальше. В ваших отношениях с ними это вполне естественно.

— А вы думаете, они придут сюда?

— Непременно.

— Ну, что ж, вот мы и дожили до своего часа, — сказал Димитрий и обнял друга, — отныне мы с тобой вне закона. Запомни этот вечер, Сергей. У нас теперь одна дорога — нелегальная.

Кружным путем, минуя Торжок, по малым проселкам

двинулись они к Вышнему Волочку, чтобы там незаметно сесть на поезд в Петербург. А в третье отделение с.е.и.в.к. (собственной его императорского величества канцелярии) было послано секретное донесение начальника тверского губернского жандармского управления. В нем, среди прочего, сообщалось:

«В дознании на настоящий день заключается уже до 60 показаний разных лиц, но дело остается еще далеко не выясненным. Правда, связь Ярцева с Кравчинским и Рогачевым уже доказана, несомненно точно так же и стремление их к распространению в народе тенденциозных книг и вредных идей... но при запутанности и потере всех следов при самом возникновении настоящего дела и при скудости сыскных средств рассчитывать на успех трудно».

Через некоторое время на донесении появилась помета, сделанная почтительным почерком управляющего III отделением Шульца: «Доложено его величеству 15 декабря».

* * *

Александр шел в малахитовый зал, где ожидал его бывший столичный губернатор.

Идти в мягких сапогах по навощенному паркету было приятно. Александр очень любил паркет в своем дворце. Вчера он раздраженно сделал замечание наследнику, который ввалился после манежа в сапожищах со шпорами прямо в парадные комнаты... Как он все-таки груб... Но, может статься, в его грубости окажется больше смысла, нежели в нынешнем либерализме, и на престоле он совершит больше, чем все его предшественники?

Правда, уступать престол Александр пока не собирался. Он сам был еще полон сил и планов.

Прежде всего, ему надо было искоренить крамолу. Она слишком глубоко зашла. Раньше гнездилась только в городах, теперь заползла в деревню... Социалисты разгуливают где хотят... Какой-то Рогачев, какой-то Кравчинский...

Александр сам открыл дверь в малахитовый зал и увидел прямо перед собой в окне Неву и крепость.

Они были на своих местах, незыблемы и строги.

Крепость всегда радовала его глаз. Из нее никто никогда не убегал. Петр строил ее против врагов внешних, она отлично служит против врагов внутренних.

Где-то там, в ее казематах, сидит недавно схваченный князь Петр Кропоткин.

Чего ему не хватало? Прельстила роль нового Курбского? Пусть теперь посидит князек, авось одумается. А не одумается, пусть пеняет на себя.

Александру вдруг захотелось взглянуть, как он мается там в тесном каменном мешке, как сидит, сторбившись, на койке, мерзнет и смотрит с тоской на догорающую свечку.

Желание было таким сильным, что Александр остановился и перевел дух.

Если бы не сан царя, он бы не устоял, он бы через десять минут был уже там, у грозных ворот с двуглавым орлом на фронтоне. Но он пересилил себя, отвел глаза от окна и шагнул к Перовскому.

Тот стоял возле зеленой колонны почтительно и печально, зная, что огорчил государя.

— Кары ждешь? — отрывисто спросил Александр, вглядываясь в холодное лицо вельможи.

— Все приму, ваше величество, — покорно, но с достоинством склонил голову Перовский.

— А ты не торопись, — сказал Александр, — ты сам в чем свою вину видишь?

— Проглядел...

— Проглядел, — передразнил Александр, — ловите журавлей в небе... Где она сейчас?

— По донесению жандармского управления уехала в деревню, но куда, пока не установили.

— А ты знаешь, чем они там занимаются, твои дети? — повысил голос Александр.

— У меня одна дочь со смутьянами, ваше величество, — тихо сказал Перовский, — Софья.

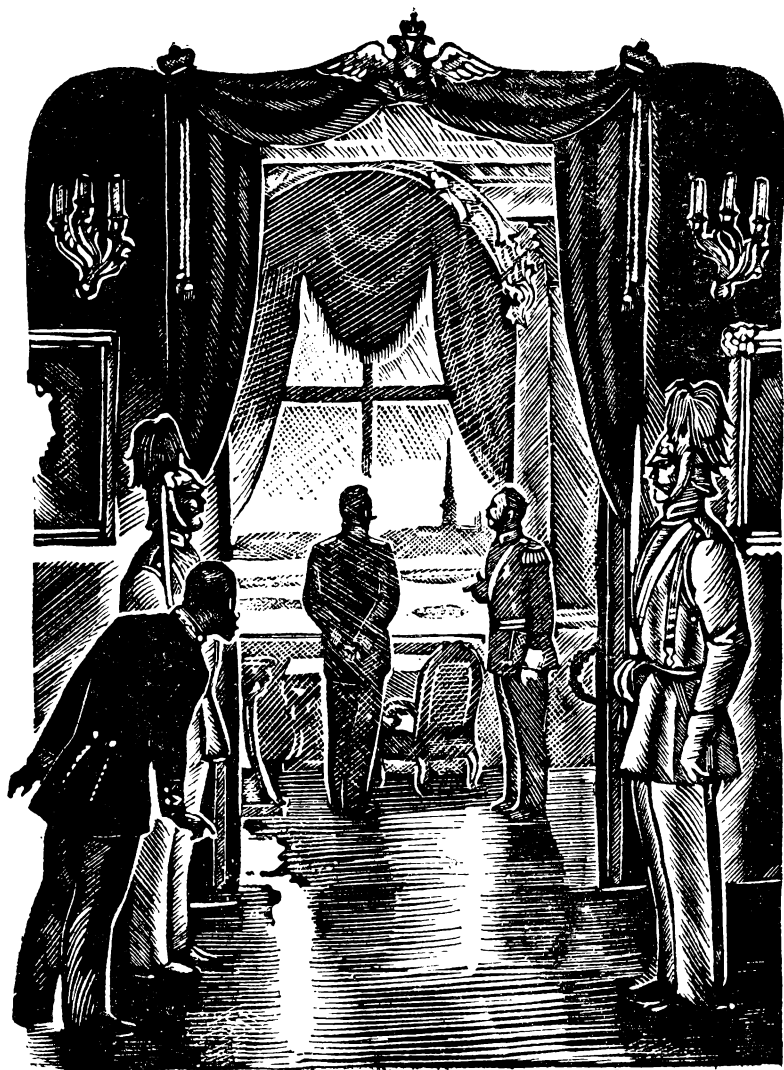
— А я, думаешь, не осведомлен? Все знаю. И что вторую замуж выдал, тоже знаю. Ты найди свою младшую дочь, Лев Николаевич, и верни домой. Я твое усердие помню. Но сам пойми, дочь такого человека, как ты, — революционерка.

— Я надеюсь, она еще не преступила грань.

— Преступила, — нахмурился резко Александр. — Но я жалею тебя. Ступай.

Перовский молча поклонился и вышел из зала.

Александр переставил безделушки на зеленом столике, побарабанил пальцами по малахиту.



Нет, не было ему покоя. Третий раз за неделю докладывают о пропагандистах. Когда же это прекратится? Из Тверской губернии, из Москвы, из Одессы...

Александр снова повернулся к окну и подумал о том, что все в конце этого года нехорошо. Он с неудовольствием смотрел теперь и на Неву, которая тоже, словно поддавшись общему непорядку, вела себя не так, как всегда.

Вторую неделю трещат морозы, а ей хоть бы что, и не думает замерзать, течет себе, не обращая внимания на холода, лишь у самых берегов нарастила неширокую ледяную корку.



Ч А С Т Ь В Т О Р А Я

СМЕРТЬ
ЗА
СМЕРТЬ





Трещит огонь за решеткой камина. На подоконниках, на столах, на рояле — цветы. Это мама, она знает, как их любит дочь. Цветы должны отгородить ее от страшного мира, где серый камень и серые лица фанатиков.

Мама бесшумно входит:

— Ты все собрала?

— Все. Не беспокойся, мамочка.

Соня не желает ее огорчать, но собирать-то в дорогу нечего. Мама не понимает. Ей кажется, что дочь никогда уже не вернется к прежнему, не захочет опять туда, в тюрьму. А дочь думает о том, что ей было бы легче остаться за решеткой. Почти все чайковцы арестованы, но только она выпущена на свободу... На полусвободу: на поруки, под полицейский надзор.

В крепости можно было перестукиваться. В особняке Перовского невозможно общение даже с теми, кто остался

на воле. Каждое письмо вскрывают. За каждым шагом смотрят. Скорбные глаза матери, холодный взгляд отца. Круглосуточная слежка слуг.

Голос швейцара заставляет ее вздрогнуть:

— Князь Бартоломей Ханджери. Прикажете принять?

Вопрос обращен к матери, но она с удивлением смотрит на дочь. Однако и Соня слышит это имя впервые.

— Пригласи сюда, — говорит мать.

Несколько секунд ожидания, дверь распахивается, и Соня невольно вскрикивает:

— Сергей!

Кравчинский, в одежде денди, какой-то не своей походкой приближается к ним. Мать смотреть на него испуганными глазами.

— Если не ошибаюсь, — приходит она в себя, — Сергей Михайлович...

— Увы, ошибаетесь, — как можно учтивее огорчает ее Сергей, — князь Бартоломео Ханджери. Можно и попроще — Варфоломей Петрович.

— Вы очень рискуете, Варфоломей Петрович, — говорит Перовская, — в этом доме...

— Я знаю, — успокаивает ее Сергей, — Бартоломео Ханджери не рискует. Он принят в лучших домах Кишинева, Одессы и Киева. У него безупречная репутация.

— Мама, оставь нас, — просит Соня.

— Ну что ж, — покоряется мать, — но прошу вас, недолго. Сонюшке надо отдохнуть перед дорогой.

— Меня отправляют в Крым, — печально усмехается Соня. — От петербургской заразы, как выражается отец.

— А если отказаться?

— Нельзя. — И, встретившись с его взглядом, добавляет: — Если я не поеду, повезут силой.

— Никогда бы не поверил!

— У меня нет другого выхода.

— Вы же свободны.

— Не могу.

— Почему?

— Потому, что мне поверили на слово.

— Вот и отлично! Доверие врагов...

— Да не в них дело, Сергей, — с досадой оборвала его Соня, — как вы не понимаете? Вы словно с другой планеты свалились. И этот ваш вид, извините, дурацкий.

— А что? Мне теперь даже дворники оказывают уважение.

— Вы шутите, — поморщилась Соня, — а мне не до шуток.

— Простите. Я действительно с другой планеты. Вчера только приехал в Петербург, вчера узнал, что вы под домашним арестом. Я подумал — надо вас вызволять.

— Каким же образом? Бежать? Это невозможно.

— Все возможно. Я вас спрячу у себя.

— Мое исчезновение повредит тем, кто арестован...

— А если вас осудят?

— Вряд ли. Прямых улик против меня нет.

— Это игра вслепую.

— Почему вслепую? Я кое-что предприняла. В суд я не пойду ягненком.

— Дай бог, — сомневался Сергей.

— Вы подумайте лучше, нельзя ли освободить кого-нибудь из наших.

— Вы же сами знаете, что такое Петропавловка.

— На днях из Одессы привезут в Петербург Волховского. Можно сделать попытку отбить его на вокзале.

— А сам Феликс предупрежден?

— Нет.

— Попробуем, — задумался Сергей, — времени у нас мало да и людей... Хорошо бы Степана привлечь.

— Его нст в городе.

— Где же он?

— Этого никто не знает, исчез куда-то. Халтурин, как и раньше, сам по себе. Но его не арестовали, это тоже известно.

— Ну, что ж. Постараемся что-нибудь придумать.

— Шансы у вас есть, жандармы ведь ни о чем не подозревают.

— Вас уже здесь не будет?

— Я уезжаю завтра.

— Тогда — желаю вам скорее вернуться.

— А я вам — удачи, Варфоломей Петрович. — Соня лукаво посмотрела на Сергея, и они оба расхохотались.

* * *

Как только поезд въехал под арку вокзала, Волховский решил бежать.

Решение возникло сразу, безотчетно, и он почувствовал, как сильно стало колотиться сердце. «Спокойно, спокойно, — внушал себе Волховский, стараясь утишить сердцебиение, — ничего особенного не произойдет. Я ведь абсолютно ничего не теряю. Если рискну и сорвется — все равно тот же каземат. Рискну. Жаль, что это только сейчас пришло мне в голову. Надо было предупредить, и сейчас я мог быть не один». Он не знал в точности, кто на свободе: держали его все время в одесской тюрьме, а туда сведения поступали скупно. Но списаться заранее можно и оттуда...

Последний раз дернулся вагон, Волховский приник к решетке.

По перрону сновали люди. Горели газовые фонари. Собственно, темнота и толкнула его к мысли о побеге. В темноте скрыться было гораздо легче.

Надо пересечь перрон, прыгать вниз на пути, лезть под соседний состав и бежать к депо; там есть выход на одну глухую улочку. Волховский ее хорошо знал. Осенью позапрошлого года он ходил туда на занятия к железнодорожным рабочим.

Добежать бы только до депо.

В толпе мелькнула знакомая голова. Неужели Кравчинский? Но разглядеть как следует Волховский не успел. С перрона к решетке придвинулся жандарм:

— Стоять возле окна не полагается!

Волховский не стал спорить. «Надо вести себя смирно. А то, чего доброго, придет им в голову надеть на меня наручники. Как хорошо, если это в самом деле Кравчинский! Значит, завтра, не позже, можно будет с ним поведаться. Интересно, что он делает на вокзале? Встречает кого-нибудь? Или провожает? Или уезжает сам? А может быть, это вовсе и не он, и я зря волнуюсь».

Он постарался отогнать эти мысли. Они мешали сосредоточиться на том, что должно было произойти через несколько минут.

Наконец открылась дверь — и жандармский офицер пригласил его следовать за ним.

Волховский задержался на ступеньке, оглядел публику и, когда один из жандармов повернулся к нему спиной, быстро побежал через перрон.

Сзади хлестнул отчаянный свист. Грохнул револьверный выстрел.



Волховский прыгнул на рельсы, упал, подвернул ногу. «Это ерунда, — со злостью подумал он, — я от них уже далеко». Он вскочил, но от боли в ноге охнул и понял, что все кончено.

По перрону прямо к нему бежали жандармы и один за другим спрыгивали вниз.

Публика тоже повалила газетъ, но ее быстро оттеснили. На помощь трем жандармам, упустившим и тут же поймавшим арестанта, из вокзала набежала еще целая куча солдат в голубых мундирах...

Когда раздался выстрел из револьвера, Сергей забеспокоился. Возня на вокзале могла помешать плану. Но ему и в голову не пришло, что этот переполох мог подняться из-за Феликса.

Сергей двинулся навстречу толпе и вдруг увидел Волховского, которого держали за руки жандармы.

Он хромал, но лицо его было совершенно спокойным. Он даже улыбался, словно ему очень нравилось идти с помощью таких дюжих молодцев. А у тех лица были насуплены. Жандармский офицер тоже шагал со свирепой физиономией, и в руке у него был наведенный в спину Волховского револьвер.

О том, чтобы теперь отбить Феликса, нечего было и думать.

* * *

Мама ухаживала за Соней, как за больной. Маме казалось, что Соня рано или поздно отойдет от своих страшных дел. Правда, в будущем Соню ждал суд, но она почти уверила мать, что суда бояться нечего.

Для Сони потянулись бессмысленные дни. Единственным утешением было то, что за целый месяц, который отец провел с семьей в Крыму, он ни разу не кричал на маму. История с дочерью научила кое-чему и его.

Маша и ее муж, какие-то высокородные кузины и прочие родственники и знакомые, съехавшиеся на летний сезон в Ялту, проводили время на пикниках, музыкальных вечерах, приемах во дворце великого князя. Соня жила замкнуто, возилась с деревьями и цветами, играла на рояле и читала, читала, читала.

Чтение, как лекарство, на какое-то время отвлекало от постоянных мыслей о товарищах.

Она поднималась на старое кладбище и оттуда подолгу смотрела на море, на Ялту, разбросанную вниз. Там, на горе, ее никто не видел, никто не мешал. У нее была своя сосна у памятника художнику, который умер в Ялте год тому назад.

Все лето она ходила к скромному обелиску, и ей казалось, что молодого пейзажиста она давно и хорошо знает, как брата, как друга. Она помнила некоторые его картины по выставкам в Петербурге, а Маша сказала, что в ялтинском дворце великого князя есть ширмы с пейзажами этого художника. Он их кончал за несколько дней до смерти. А умер от чахотки, задолжав кредиторам...

Великий князь, без сомнения, не нес прямой ответственности за его смерть. Но Соня с раздражением думала о меценате из царской семьи. Ведь художник умирал, а должен был расписывать эти ширмы...

Все, к чему причастны сановники, дворяне, чиновники, оборачивается для людей издевательством и кабалой.

Потом настала осень, пошли дожди, Ялта опустела. Следствие в Петербурге над чайковцами и другими пропагандистами затягивалось, суда все не назначали. Соня с мамой переехали в Симферополь. Соня поступила в тамошнюю фельдшерскую школу. Работа сестрой милосердия в симферопольской больнице все же приносила некоторую пользу людям.

* * *

— Сестрица, мне бы перевязку, — попросил больной очень знакомым голосом.

— Снимайте верхнюю одежду, — приказала Соня.

Пациент, поворотясь к ней спиной, долго стаскивал с плеч крестьянский зипун и шаркал ногами о половики.

Соне уже не в новинку были самостоятельные приемы. Экзамен на звание фельдшера предстоял летом, но доктор спокойно доверял Перовской часть своей работы.

— Ну, что у вас стряслось? — спросила она мягко, поднимаясь навстречу больному.

— Да пока что, почитай, самая малость, — ответил он, улыбаясь во всю ширь своего монгольского лица.

Это был Клеменц собственной, ни на кого не похожей персоной.

— Какими судьбами? — обрадовалась Соня.

— Разными, — Клеменц отвечал, балагурия, — себя показать, вас повидать. Молва о вашем искусстве докатилась до Санкт-Петербурга.

— Не дурите.

— А я серьезно. Приветы вам везу. Поговаривают, что летом будет суд.

— Скорей бы!

— Судить будут около двухсот человек. Такие слухи. Так что, выходит, остальные сидят зазря, а остальных больше вдесятеро. Вот такие делишки.

— Скверные дела.

— Я вам привез кое-какие письма. До процесса все надо обговорить, чтобы не было, кто в лес, кто по дрова.

— Мне писали, что заболел Кропоткин.

— Когда я уезжал из Петербурга, его перевели в тюремную больницу.

— А остальные?

— Держатся. Измотала эта отсидка всех до предела. Разве что Феликс чувствует себя лучше других, так, по крайней мере, сам пишет. Ждет процесса, как драки.

— Хорошо, если будет драка. А если нет?

— Драка будет.

— Вы уверены, что суд пройдет при публике?

— А как же иначе!

— Да они могут попросту испугаться гласности и закроют двери!

— Посмотрим. Но вы правы, надо и на этот случай приготовиться.

— А где сейчас Сергей?

— Ни за что не поверите! В Италии.

— Как он туда попал? — изумилась Соня.

По сообщениям, которые она получила зимой 1875 года из Петербурга, Кравчинский поехал в Швейцарию налаживать журнал. Она тогда порадовалась и за чайковцев и за Сергея: он мог заняться делом, в котором так неожиданно сверкнул его новый талант.

— Ввязался в одну заваруху, сугубо итальянскую.

— Значит, затею с журналом он оставил?

— Увы, там, знаете, в Женеве трудно собрать людей. Он, по-моему, бился месяца три, но ничего не вышло.

— И решил уехать в Италию?

— До этого он еще помогал сербам против турок.

- Вот как. А я ничего и не знала.
- Никто ничего не знал. Он же все делает на свой риск. А без дела ему не сидится. В Италии его арестовали.
- В чем же его обвиняют?
- В попытке свержения пьемонтского короля. А за это по итальянским законам полагается смертная казнь.
- Вы точно знаете?
- Совершенно точно. Его считают одним из зачинщиков.
- Зачем он туда поехал! Неужели не мог подождать? Ведь у нас все опять скоро начнется.
- Ждать не так просто.
- Да, ждать не просто, — повторила Соня.

* * *

Это была обыкновенная тюрьма на окраине города, с грязной камерой и тюремной вонью.

Где-то рядом сверкал под лазурным небом Неаполитанский залив, вставал над ним амфитеатр живописных домов, Везувий благодушно выпускал струйку дыма. По цветущим улицам двигалась нарядная толпа. За дощатыми шторами, оберегавшими неаполитанцев от палящего солнца, раздавались голоса и музыка... А за кирпичными стенами и крохотными окошками тянулись бессолнечные тюремные дни.

Один раз в день выводили гулять в тюремный дворик. Винченцо и Энрико забирали еще на допросы. Сергея не трогали: языка он не знал. То есть не желал объясняться с жандармами и не докладывал им, что каждый день изучает итальянский.

Сергей всерьез пленился итальянским языком. А лучших учителей, чем Энрико и Винченцо, он не нашел бы и на воле.

Энрико знал наизусть много итальянских стихов. Он учил Сергея языку на классических примерах. Винченцо, несмотря на свою молодость, исколесил в поисках работы всю центральную и южную Италию. Его речь была грубоватой, но живописной и выразительной.

Нет, время даром не проходило. Сергей становился богаче и не задумывался о том, куда потом денет свое новое богатство.

Русских книг у него не было. Последняя, которую он держал перед отъездом в Италию, была его собственная «Сказка о копейке».

Ее отпечатали в вольной типографии, и он первый раз видел напечатанным свое произведение. Это было так странно. Странно и приятно. Слова и предложения, придуманные им и записанные когда-то пером на бумаге, выглядели совершенно иначе, когда их напечатали. Они даже вели себя иначе.

Те, написанные рукой, слова были понятными, послушными, их написали, поставили на свое место, и они были довольны. А печатные слова сразу, как только он их стал читать, задергались, запротестовали. Он с ужасом увидел, что им в самом деле не по себе. То они толпились, как мужики на Сенной площади в Петербурге, толкали друг друга, мешали друг другу, то плелись вразвалку, поодиночке, как пьяные.

Он увидел их, словно бог свою землю в первый день творения. Но, в отличие от бога, не умилился делом своих рук. Он понял, что оскорбил их, вооружился пером и стал исправлять свои ошибки.

А потом, после корректуры, Сергей держал в руках заветную брошюрку. Он был переполнен смущением и радостью.

Правда, теперь Сергей не верил, что сказочками и брошюрками можно расшевелить мужика. Но вспоминать об этом было приятно.

Однако чаще Сергея бередили другие, горькие воспоминания.

* * *

Он помнил, как в траттории на стенах горели газовые рожки. Своей формой они напоминали факелы и усиливали то впечатление тайны и заговора, которое возникло у Сергея сразу же, как только он вслед за Энрико опустился по стертým ступеням в тесную залу, со сводчатым каменным потолком и каменными, грубо отесанными стенами.

Хозяин траттории, юркий и немолодой, сам наливал гостям вино, ловко управляясь с громадным графином и, как казалось Сергею, яростно нападал на каждого, кто проносил «поперек» хотя бы одно слово.

Сергей плохо понимал быструю итальянскую речь. Эн-

рико переводил ему самое главное. А самым главным, как только Сергей и Энрико уселись за стол, оказались именно эти раскатистые фейерверки маленького хозяина.

Его острая тень летала по стенам, в неровном свете рожков мелькал горбоносый профиль, и Сергей не мог отделаться от впечатления, что перед ним не один, а по крайней мере два человека, которые носятся по комнате и останавливаются только для того, чтобы взорваться очередной руладой.

Остальные, их было человек двадцать, сидели спокойно, если вообще можно говорить о спокойствии, когда люди громко говорят, жестикулируют и вспыхивают от каждого слова, произнесенного другим.

Энрико с улыбкой выслушивал наскоки трактирщика.

— Чего он хочет? — спросил Сергей.

— Чтобы мы еще немного обождали, — ответил Энрико.

— У вас ведь все готово?

— Он говорит, что не все. Он говорит, что у нас пока мало оружия и людей.

— В самом деле, — эта мысль не давала покоя и Сергею. — Мы хотим уйти в горы завтра, а у нас всего пятнадцать человек.

— Цо! — издал Энрико гортанный звук, в котором была и досада, и пренебрежение, и какая-то непостижимая отвага. — Надо знать итальянцев! Мы не можем ждать. У нас другой темперамент.

— Но у вас действительно все готово?

— Что такое — все? Все никогда не может быть готово на этой грешной планете, иначе мы бы не брались за оружие. Душа готова, вот главное. Душа моего народа, которому ненавистны черные мундиры. Ты говоришь, нас мало. А ты знаешь, что ответил Гарибальди, когда его спросили, сколько тысяч человек надо ему для освобождения Сицилии? «Тысяч? — сказал Гарибальди. — Мне нужна всего одна тысяча!» А против него была стотысячная армия. В Италии каждый третий — социалист. Не улыбайся, это так. Ты ведь был в Тоскане?

— Был.

— Так вот, в деревнях Тосканы, Романьи и Пьемонта большинство жителей — социалисты. Им пропаганда не нужна. Они всегда пойдут с нами.

Память восстанавливала следующее утро...

Над каменными кручами поднималось солнце. Быстро разобрали оружие и гуськом двинулись к деревушке Сан-Лупо, где Энрико собирался обосноваться.

Всего в отряде вместе с Сергеем оказалось двадцать пять человек, в основном люди простые — сапожники, каменотесы, портные, батраки.

С полчаса шли по тропе в полной тишине, которую нарушал лишь легкий скрип и шуршание камней.

Вдруг идущий впереди поднял руку: тропу со стороны деревни перегораживали карабинеры.

— Нас кто-то предал, — сказал Энрико, — здесь не могло быть карабинеров.

Отряд, отстреливаясь, полез в горы.

Карабинеры преследовали весь день. Ночевали без огня, меняя каждый час караулы и прислушиваясь к малейшему звуку.

Едва рассвело, отряд снялся с места. Опять началась изнурительная погоня с перестрелкой, с карабканьем по кручам.

— Может быть, одному из нас пробиться ночью к деревне? — предложил Сергей.

— Тогда уж лучше всем, — сказал Энрико.

— Один сделает это незаметно.

— Но зачем только одному? — не понимал Энрико.

— В деревне, наверное, ничего не знают. Они придут к нам на помощь.

— Не думаю.

— Ты же говорил, что многие жители Кампаньи ждут только сигнала. По-моему, самое время дать этот сигнал.

— Я не могу рисковать жизнью своих людей.

— Хорошо. Пойду я.

— Нет.

— Не хочешь решать один, давай поговорим с отрядом.

— Нет, нет, нет! — выкрикнул Энрико. — Я не могу отпустить тебя на верную смерть. В Сан-Лупо монархисты, можешь мне поверить, они теперь будут стеречь нас повсюду, и никто там нас не ждет.

— Никто не ждет?

— Во всяком случае, вооруженной поддержки не окажут.



— Но ты же раньше говорил другое!

— Говорил, — поник Энрико.

Слова были бесполезны, и горько было сознавать, что итальянцам тоже были свойственны поступки «на авось».

На пятый день стало совсем туго. Кончилась еда, люди с трудом перебирались вверх, многие были ранены.

Сергей стрелял до последнего патрона, а потом взял свой снайдер за ствол обеими руками, как дубину, и вышел из-за укрытия...

Пленных со связанными руками бросили в повозку. Пот заливал глаза, было жарко, но пить им не дали за целый день ни капли.

Когда стемнело, карабинеры зажгли факелы. Стало прохладней, но жажда мучила еще больше.

Сергею удалось повернуться на бок, и он увидел над собой небо и звезды.

Звезды мерцали, словно прищуриваясь от своего какого-то непонятного людям звездного покоя и удовольствия. Они были прекрасны и вечны, и им было наплевать на то, что где-то на земле стучит по пыльной дороге повозка со связанными, измученными людьми...

У Сергея теперь было достаточно времени для того, чтобы подумать о том, как он мог поверить на слово Энрико Малатесте, отчаянному, смелому человеку, но авантюристу по натуре и стороннику анархических идей Михаила Бакунина.

Свобода пришла внезапно. Умер один итальянский король, вместо него на трон сел другой и по традиции, на радостях, объявил амнистию.

Энрико и Винченцо остались в Неаполе, Сергей поехал на север.

В поезде итальянцы, как дети, радовались победам русских над турками. Сергей не мог разделить их чувств. Для него была ясна подоплека царской любви к братьям-славянам: царь зарился на проливы из Черного в Средиземное море, оттого и полез в войну на Балканах.

Со страниц итальянских газет смотрели бравые физиономии генералов — Черняева, Скобелева, Гурко и лучезарный лик самого царя, и, разумеется, не было места для изможденных лиц сотен русских, которых под сурдинку судили в это время в Петербурге за мирную пропаганду среди крестьян и рабочих.

В Женеве ему показали стенограмму одного заседания «особого присутствия правительственного сената», в которой Сергей услышал живой голос России.

Подсудимый Ипполит Мышкин говорил на суде: «...девушка, желавшая читать революционные лекции крестьянам; юноша, давший революционную книжку какому-нибудь мальчику; несколько молодых людей, рассуждавших о причинах народных страданий, рассуждавших, что не худо было бы устроить даже, быть может, народное восстание, — все эти лица сидят на скамье подсудимых, как тяжкие преступники, а в то же время в народе было сильное движение, которое смиралось помощью штыков; а между тем эти лица, эти бунтовщики, которые были усмирены военной силою, вовсе не были привлечены на скамью подсудимых, как будто бы говорить о бунте, рассуждать о его возможности считается более преступным, нежели самый бунт. Это может показаться абсурдом, но абсурд этот понятен: представители силы народной могли бы сказать на суде нечто более полновесное, более неприятное для правительства и более поучительное для народа. Поэтому-то зажимают рот и не дают сказать эти слова на суде...»

Сергей читал речь Мышкина с восхищением и болью. Каждым своим словом Мышкин отягчал себе будущий приговор, но каждое его слово разбивало ложь и выносило на свет правду о замордованной России.

Сергей хорошо представлял себе обстановку царского суда.

Темная зала, длинный стол, за которым в черном оперении стервятников сидела комиссия. Жандармы с саблями наголо. Жиденькая стайка так называемой публики, среди которой нет сочувствующих. А за барьером небольшая группа заключенных.

* * *

Суд, как и предполагала Соня, побоялся вывести их вместе, всех сто девяносто трех, и трусливо судил по частям, отдельно друг от друга.

Над барьером возвышается худая фигура в арестантской куртке и бросает последние слова главному судье, сенатору Петерсу:

— Теперь я вижу, что у нас нет публичности, нет гласности, нет не только возможности располагать всем фактическим материалом, которым располагает противная сторона, но даже возможности выяснить истинный характер дела, и где же? В стенах зала суда! Теперь я вижу, что товарищи мои правы, заранее отказавшись от всяких объяснений на суде... Теперь я имею полное право сказать, что это не суд, а пустая комедия... или... нечто худшее, более отвратительное, более позорное...

Петерс кричит жандармам:

— Уведите его!

Офицер хочет схватить Мышкина, но подсудимые загораживают его.

Их там, за барьером, несколько, и среди них Дмитрий Рогачев. Он отталкивает офицера, но подскакивают еще жандармы. Петерс трясет колокольчиком. Жандармы отесняют Рогачева и других подсудимых и волокут Мышкина через залу, зажимают рот, но ему удается выкриком закончить фразу:

— ...более позорное, чем дом терпимости: там женщины из-за нужды торгуют своим телом, а здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и крупных окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью, торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества!

Такого бунта еще не бывало в царском суде. Из ста девяносто трех высказался один Мышкин, но его голос прозвучал на всю Россию и Европу.

Но Европа была полна своих забот. То, что происходило в России, казалось ей почти нереальным. Какие-то бунтари, какие-то нигилисты... Да и трудно поверить, чтобы на суде могло такое твориться. Суд — это прежде всего справедливость, гласность, право подсудимого на защиту. Правда, правительство тоже имеет свои права, и в первую очередь — карать. Но чтобы так грубо попиралось достоинство человека, чтобы так издевались и до суда (больше семидесяти этих русских сошли с ума в одиночках!) и на суде — невероятно. Скорее всего, русские социалисты преувеличивают, сгущают краски. Это понятно, они хотят добиться своего, порочат государственную систему, царя, армию... А русская армия скоро одолеет турок. Как же так?

Люди верили и не верили, но в конце января 1878 года один слабый выстрел сразу заглушил и гром фанфар и гром пушек на Балканах.

Европа изумленно обернулась к России. Этот выстрел яснее, чем сотни корреспонденций, говорил о неблагополучии в русском государстве.

Застенчивая девушка подняла револьвер на петербургского градоначальника, который приказал высечь розгами политзаключенного за то, что тот не снял перед ним шапку.

Она открыто вошла в кабинет и, не дрогнув, разрядила револьвер.

Ее схватили — она и не сопротивлялась. А через два месяца суд присяжных ее оправдал. Это было невероятно, неслыханно! Вопреки воле прокурора и внушению самого царя присяжные оправдали человека, который покушался на жизнь царского слуги!

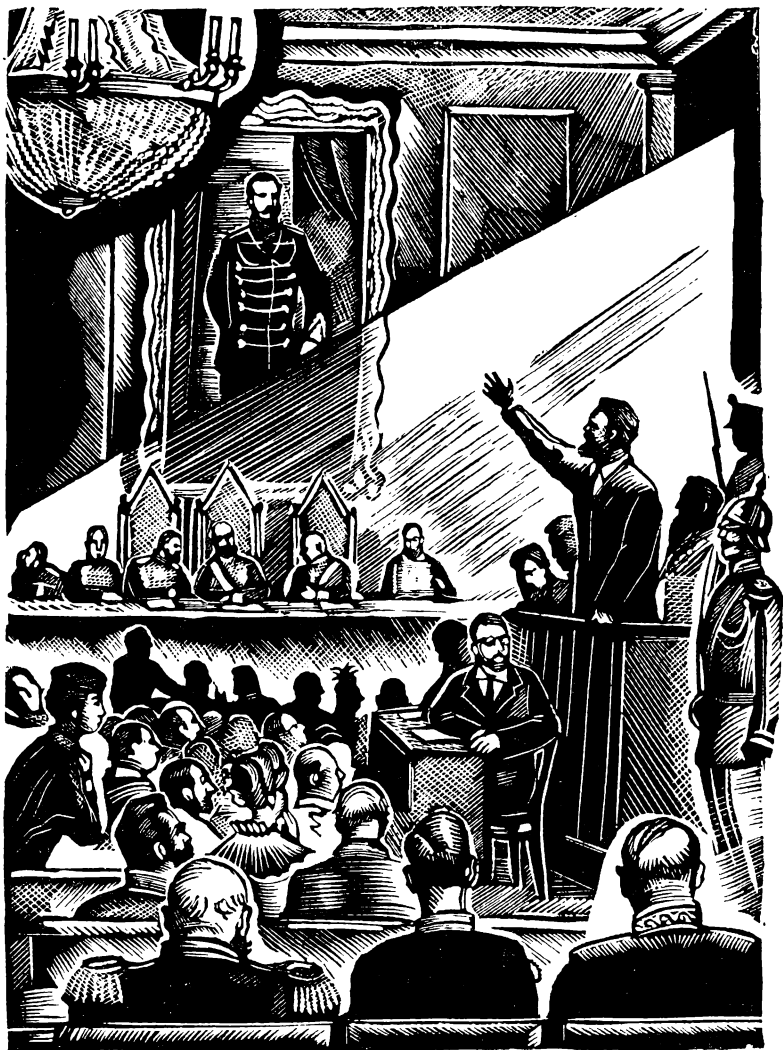
* * *

Впервые после долгого перерыва Сергей вновь взялся за перо. «Люди боятся героизма, — слова вырывались быстро, — он слишком болезненно заставляет их сознавать собственную пошлость. Поэтому-то они всевозможными софизмами селятся отбиться от необходимости признать его.

Но здесь факт был слишком ясен, слишком очевиден. Весь залитый сиянием, сам собою вставал в воображении чудный образ юной мстительницы.

И мир преклонился перед нею.

Мы видели буржуа, лавочников, конторщиков, людей,



давно опустившихся в омут жизни, давно переставших думать о чем бы то ни было, кроме своих будничных интересов, мы видели, как лица их зажигались юношеским энтузиазмом, как с глазами сияющими восторгом они восклицали: «Да, это великое событие, великий подвиг!»

Статью он принес Клеменцу в журнал «Община», который стали издавать русские эмигранты.

— Ну вот, все складывается так, чтобы тебе писать, — сказал Клеменц.

— Там посмотрим, — уклончиво ответил Сергей. — Сейчас мне надо в Россию. Разве не чувствуешь, как меняется обстановка? Слабая девушка карает палача...

— Не такая уж она слабая.

— Ты ее знаешь?

Клеменц кивнул.

— Я должен ее увидеть.

— Для этого не надо врать в Россию. Завтра она будет здесь.

* * *

На вокзале ее встречало несколько человек, самых близких друзей. Она так просила. Сергей не знал этого и даже оскорбился. Ему, с его восторженным отношением к ней, казалось, что весь город должен прийти на площадь. Но уже после первых минут знакомства с Верой Засулич понял, как была бы неуместна и тягостна для нее подобная встреча. Понял и усмешку Клеменца на свои слова о «слабой девушке».

Вера выглядела усталой, но назвать ее слабой было бы просто смешно. В ее невысокой фигуре угадывалась сила. Черные волосы и тонкие губы придавали ей черты суровости, даже жестокости. Но сурова и жестока Вера была только к самой себе.

Она страдала типично русской болезнью, о которой так много и дотошно писала русская литература, начиная с Пушкина, а в последнее время — Лев Толстой, Достоевский и в особенности Глеб Успенский. В ней жила вечная неудовлетворенность собой. Она безостановочно грызла себя анализом, судя подлинные и кажущиеся свои недостатки. Кажущихся было гораздо больше, и вырастали они в ее воображении до невероятных размеров.

Несколько дней она избегала встреч, разговоров, и

Сергей видел ее только издали. Что-то терзало ее. Сергей хотел подойти к ней, поговорить и, может быть, снять часть тяжести с ее души, но удерживался. Клеменц его предостерег. Он сказал, что это бесполезно, она сама избавится от хандры.

Сергей тоже не находил себе места.

Из России в «Общину» пришло от имени двадцати четырех осужденных по процессу «193-х» письмо.

«Уходя с поля битвы пленными, но честно исполнившими свой долг, — писал его автор Феликс Волховский, — мы считаем нашим правом и нашей обязанностью обратиться к вам, товарищи, с несколькими словами... Мы по-прежнему остаемся врагами действующей в России системы, составляющей несчастье и позор нашей родины, так как в экономическом отношении она эксплуатирует трудовое начало в пользу хищного тунеядства и разврата, а в политическом — отдает труд, имущество, свободу, жизнь и честь каждого гражданина на произвол «личного усмотрения». Мы завещаем нашим товарищам по убеждениям идти с прежней энергией и удвоенной бодростью к той святой цели, из-за которой мы подверглись преследованиям и ради которой готовы бороться и страдать до последнего вздоха».

Среди подписавшихся стояло и два других дорогих для Сергея имени — Леонид Шишко и Димитрий Рогачев.

* * *

Однажды Вера сама заговорила с Сергеем.

Он встретил ее у озера, кивнул и хотел уйти, не мешать, но она остановила его.

— Вам тоже беспокойно, Сергей Михайлович? Я вас каждый день здесь вижу. Вы ведь тоже не природой любуетесь? Я угадала?

— Обо мне догадаться нетрудно. Я здесь давно. И каждый день одно и то же перед глазами. — Сергей смотрел на чистую, до безобразия безмятежную гладь озера, с отраженным в ней ландшафтом. — Но чем вы недовольны? Вы не сердитесь, что я так говорю. Но, ей-богу, я имею право. Я столько думал о вас, да и не только я один, вы должны знать...

— Нет, нет! — запротестовала Вера. — Не надо этого говорить. Я это знаю, но мне больно.

— Почему? Вы должны радоваться. Ваше имя для всех нас означает победу.

— Знаю, — опустила она голову, и Сергей поразился болезненному выражению ее лица. — Но какая же это радость? Если бы я умерла, тогда другое дело.

— Что вы говорите! Подумайте, что вы значите для нас живая, в безопасности?

— А для меня? — Глаза Веры горели, голос звучал громко. Она почти кричала. — Я ведь тоже живой человек. Я была спокойна, когда меня держали в тюрьме и судили. Я сделала все, что могла, и имела возможность спокойно умереть. А теперь? Что мне делать? Я свободна и снова должна искать, что делать, а найти так трудно.

Это был крик души, и Сергей понял, какая ошибка считать Веру Засулич непреклонной, экзальтированной героиней исторической драмы. Она была простым и в то же время по-человечески сложным существом. Ее подвиг был для нее так же естествен, как и вся ее предыдущая, не очень заметная жизнь, типичная для сотен русских девушек, связавших свою судьбу с революцией: учительница, работница кустарной мастерской, участница молодежных кружков Петербурга...

Пересилить собственный характер она не могла. Ей претило, когда ее называли героиней.

* * *

Сергей Кравчинский напоминал ей большого, доброго ребенка. Даже его оригинальная голова с шишковатым лбом не разрушала этого впечатления. Вера видела улыбку его добрых губ, встречала его открытый, простодушный взгляд и понимала, что он, как ребенок, увлечен в людях только хорошим. Для него не было большей радости, чем дружба, разговор или даже беглая встреча с хорошим человеком.

Он не навязывал ей своего общества и, кажется, понимал, что с ней происходит. Он сам томился в бездействии и доверчиво открывал ей свою душу.

С ним было просто. Они разговаривали о самых разных вещах, они подружились.

— Одного я вам никогда не прощу, — сказала ему Вера.

— Догадываюсь, — засмеялся Сергей, — моей статьи?

— Как вы могли написать такое?
— Разве это неправда?
— А разве правда, когда человек пишет о каком-то чудном образе, о сиянии, о юной мстительнице?
— Что же в этом плохого?
— Хотя бы то, что это напыщенно.
— Вы так думаете?
— И вы должны так думать. Так вообще писать нельзя, даже если бы это было не обо мне.
— Хорошо, — пригрозил Сергей, — я напишу о вас по-другому.

— Господь с вами! — замахала на него руками Вера. — Этого еще не хватало. — Но, не исключая в будущем подобную выходку от такого горячего человека, как Сергей, решила польстить: — В вашей статье было одно разумное место.

— Это какое же? — Сергей на всякий случай ожидал с ее стороны подвоха.

— В самом конце.

— Что-то не помню.

— Разумеется, — ехидно сказала она, — вам было не до того! А мысль дельная.

— Да скажите же, ради бога!

— Скажу, не спешите. Давно, между прочим, собиралась сказать. Мысль о том, что в России созрел вопрос об организации революционной партии.

— Значит, вы тоже так думаете?

— Да. Я бы сама поехала для этого домой. Но мне сейчас нельзя. А вы правильно писали, что пора соединить наши силы. Вот за это я готова простить вам всю вашу романтику.

— Без романтики тоже нельзя, — весело возразил Сергей, глядя в ее умные, лучистые глаза и радуясь, что нашел в ней неожиданно союзника.

* * *

Да, без романтики у него не получалось и главным образом не в том, что он писал, а в том, что делал. Романтикой была вся его беневентская попытка свергнуть власть неаполитанского короля. Романтикой являлась и поездка в Сербию и Боснию.

Теперь он мог спокойнее оглядеться и выделить главное в том, что произошло там.

Тогда, больше двух лет назад, он настолько устал от споров и разногласий при организации заграничного журнала, что просто сбежал от русских эмигрантов, когда узнал, что две южно-славянские области — Босния и Герцеговина — восстали против турок.

Это был не мираж, не разговоры, а борьба.

У него было письмо к Пеко Павловичу, одному из руководителей восставших областей. Сергея приняли хлебосольно, как своего: . .

До ночи сидели за столами в крестьянском дворе босняцкой деревни, где разместился отряд повстанцев. Пили крепкую ракию и кислое виноградное вино, которое приносили из погреба в больших кувшинах. Босняки в расшитых галунами куртках ударяли своими кружками в кружку Сергея: за победу в схватке с турками, которая была накануне, за победу в первом сражении Сергея, за полную победу над басурманами.

Сидели долго, пили много, но никто не пьянел. То ли потому, что больше пили кислое вино, а не «лютую» ракию, то ли потому, что хмелю вообще трудно было побороть такую славную компанию, которая дружно гудела за столом, дружно и складно пела протяжные песни.

Эти люди внешне ничем не напоминали студентов. Они сидели в особенных, полувоенных куртках, при оружии; лица их были бронзовые от горного ветра и солнца, не то что бледный румянец тех, кто подолгу жил в Петербурге. Но Сергею они, с их застольным разговором и пением, напомнили именно студентов Петербурга. Те тоже любили собираться большими компаниями, вести шумную беседу и петь свои то грустные, то веселые песни.

Короткая студенческая жизнь представлялась теперь Сергею чем-то почти нереальным. Это было вечность назад.

Да ведь и разговоры, и песни, и вино в дружеском кругу — все это лишь внешняя сторона, декорация. Суть-то студенческой жизни — как и любой другой — не в этом. И однако же, странно, именно этот антураж милее всего сердцу, именно он способен всколыхнуть целое море воспоминаний.

Море воспоминаний. . . Сергей усмехнулся. Память, как всегда, работает по шаблону. Что, собственно, означает это

выражение? Почему море, а не горы? Море — это вода, что-то ровное и расплывчатое. Гораздо лучше сказать — горная цепь воспоминаний. Особенно если воспоминания отчетливые. Или — горный кряж воспоминаний. Но это почему-то звучит высокопарно. «Он видел горные хребты, причудливые, как мечты...» Нет, это совсем другое. К тому же стихи всегда чуточку выпрєнны, им это не мешает.

В Сербии Сергей заново стал переживать радость общения с человеческой речью. Сербо-хорватский и босняцкий языки были очень близки русскому, но и рознились от него. Они позволяли увидеть в простом и привычном раньше слове новый смысл. А то и забавляли: трудно было быстро приноровиться к некоторым казусам чужого языка.

Ему сразу попались два слова — ружье и пушка, и не сразу он к ним привык: пушка означала у сербов ружье, а для самой пушки имелось короткое, как ее выстрел, слово топ.

Привыкать приходилось ко многому, и не ко всему можно было привыкнуть.

Хорватская и в особенности сербская деревня после русских деревень раздражала Сергея. Она выглядела зажиточной и сытой. Богатые дома, много скота, аккуратные дворы и улицы. В деревенских трактирах, механах, Сергей ни разу не видел сцен, к которым так привык в России: с треском, чуть ли не срываясь с петель, распахивается дверь кабака, и из него выталкивают растерзанную фигуру, в лаптях, в рубахе (армяк только что заложен кабатчику), с пьяными бессмысленными глазами.

Эх, горе горькое, русское. Ни кола, ни двора. Бесшабашность и нищета. Удадь и грубое пьянство. Да и пьянство все больше с горя, с тоски, с бедности.

Хлыстом обжигала мысль: не я должен освобождать, а меня, меня! От моей бедности, приниженности, бескультурья. От моих кулаков, помещиков, жандармов. От всей той российской нечисти, которая не дает русским устроить свою жизнь так же красиво и зажиточно, как удалось это сербу, словаку и герцеговинцу.

Сергей встал из-за стола, пошел по двору.

Навстречу, из сарая, где был погреб с огромными бочками, хозяин-босняк, принимавший у себя Пеко с его друзьями, нес два кувшина. Он сверкнул Сергею белыми зубами и что-то сказал.

Над высокой кукурузой, которая огораживала хозяйский участок, в звездном небе сиял серп луны. «Кривой, как ятаган, — подумал Сергей, но тут же сердито поправил себя: — Серп и сам по себе достаточно крив».

В тот вечер возникла и первая трещинка между ним и Пеко.

— Сто лет назад нам никто не помогал, — сказал Пеко. — Мы маленький народ, но мы добьемся свободы. Русские нас понимают — они свободны, у них нет ига.

— Сколько ты жил в России? — спросил Сергей.

— Целый год, — ответил Пеко, — в Москве, в Киеве, в Петербурге.

— Где же тебе больше понравилось?

— Все города хорошие. Но в Петербурге холодно, снег, а в Киеве тепло.

— Разница небольшая.

— Для меня большая, — возразил Пеко, — я южный славянин, ты северный славянин.

— На юге России и на севере России одна и та же полиция. В Киеве жандармы, и в Петербурге жандармы.

— Да, я знаю, — кивнул Пеко. — Но что же ты хочешь? Полиция должна следить за порядком. В России русская полиция, своя. А у нас — турки, что хотят, то делают. Хотят — режут, хотят — жгут. Когда мы прогоним турок, мы сделаем свою полицию.

— Для чего? — пожал плечами Сергей. — Чтобы своя полиция жгла и резала?

— Нет, брат Сергей, ты говоришь неправильно. Ты говоришь так, потому что у вас нет турок.

— Наша полиция и жандармы хуже всяких турок. «Как же так могло получиться, — подумал тогда Сергей, — прожив год в России, он не увидел и не понял борьбы русских против правительства? А может быть, не захотел увидеть? Нет, не то... У Пеко и его товарищей сейчас одна идея, одна страсть — освободить родину от иноземцев. Это вытесняет все. Я не должен обижаться на то, что он не желает вникнуть в российские болячки. У них своя голова болит. Но почему же тогда я здесь? Я-то вот здесь!»

— Не надо тоски, — сказал Пеко, — тоска — нехорошо. Выпьем за нашу дружбу. Ты научишь моих солдат стрелять из пушки. Это хорошо. — Он поднял кружку и перекрыл

своим басом голоса. — За наше топове! За нашего начальника артиллерии!¹

* * *

Романтика уходит, оставляя зарубки в памяти, заставляя человека строже судить свои поступки.

Сергей подводил итоги и терпеливо сносил сонную обстановку Женевы. К счастью, прозябание на берегах прекрасного озера в Швейцарии длилось недолго.

Соня написала, что ей удалось сразу же после оправдания по суду скрыться, и давала понять, что в Петербурге скоро будут серьезные дела.

Сергей простился с Верой и Клеменцем и через три дня шагал уже далеко на востоке по склону оврага и слушал, как внизу, в кустах, бурлит на перекатах ручей. Местами ручей замолкал, и тогда чисто вызванивали свои песенки птахи. Им было очень хорошо в мокрых от росы кустах. Птахи копошились, начиная новый, счастливый день, и заражали человека своим настроением.

Сергей представил себе, как приятно сейчас пройтись босиком по росистой траве, а потом сбросить с плеч сюртук, лечь на него с закинутыми за голову руками и смотреть в небо.

В детстве ребята говорили, что если долго-долго смотреть на облака, то можно увидеть свою судьбу.

Сергей вспоминал, что же ему виделось в детстве: каравеллы и караваны верблюдов, неприступные, вечно меняющиеся замки и живые лица то добрых, то злых людей.

Ветер гнал облака в одну сторону, и Сергей плыл, покачиваясь, со своими каравеллами в неведомую, прекрасную страну.

Добрый знак: едва он перешел границу, как его встретили старые приятели. Он забыл их. А они все такие же светлые, мудрые и так же щедро сулят воздушные замки.

Им надо верить! Они не обманывали его раньше, не подведут и теперь. Надо лишь иметь чуточку воображения. Это нисколько ничему не помешает.

Граница где-то уже позади. Ее и не заметишь. Там земля и здесь земля, там июнь и здесь июнь, и такая же трава, и роса, и птицы. Пограничник на полчаса исчез, ему это

¹ За наши пушки! За нашего начальника артиллерии (серб.).

ничего не стоит. За хорошую плату он всегда готов посидеть где-нибудь за кустом, покурить и поглядеть на облака.

Но все же это уже Россия. Если все идти вперед, день за днем, то будет не только шелковистая трава и трели жаворонка над головой, а и темные лики изб, с шапками соломенных крыш, встанут на пути ошестинившиеся башнями холмы Смоленска, запляшет золотыми искрами куполов Москва... Ударит в очи Россия со всем ее богатством и бедностью. И когда это произойдет, когда ежедневно будет она рядом, когда городской, как шиш, будет с утра до вечера торчать перед глазами, тогда пропадет охота и выражаться высоким штилем, все встанет на свои места буднично и просто.

В станционный зал пограничного городка он вступил независимой походкой делового человека, и никому бы не пришло в голову спрашивать, кто он, откуда и что за предметы в его саквояже. А если бы и пришло, у него имелись ответы. Они подтверждались и образцами товаров, которые лежали в саквояже и которые он возил к местным торговцам, и безупречным документом на имя кавказского князя из не очень богатого, но — как вы догадываетесь! — очень знатного и гордого рода Парцвания.

* * *

На вторые сутки князь Парцвания уже ступал по перрону петербургского вокзала.

Над городом собиралась гроза.

Сергей взял пролетку с крытым верхом и сказал извозчику, чтобы ехал не спеша. Времени было достаточно и для того, чтобы, петляя по улицам и сменив извозчика, убедиться, нет ли сзади «хвоста», а если есть — избавиться от него, и для того, чтобы просто посмотреть город, в котором давно не был.

К Петербургу Сергей испытывал сложное чувство. Он воспринимал его совсем не так, как другие города. Это был не обыкновенный город, а каменный, исполняющий злую волю исполин. Он дышал, двигался, расползался вширь и ввысь, втягивал в себя тысячи непокорных людей и перемалывал их по своему усмотрению.

Серый в сырые осенние дни, он был городом униженной бедноты. Когда же в урочный час били в крепости куранты, из дверей министерств, департаментов и канцеля-

рий высыпали серые вицмундиры — самые разнообразные начальники и подчиненные разбежались по домам.

Неспроста русские цари, все меньше напоминая своего великого предка, все же не решались вернуть столицу в старую, теплую Москву. Их больше устраивал холодный Петербург. В широких перспективах и надменных дворцах крепче держался казенный дух.

Построенный по четкому, грандиозному плану, новый город лучше, чем каменный и деревянный хаос Москвы, внушал мысль о стройности и незыблемости государства.

Но Петербург в то же время нравился Сергею своей архитектурной стройностью и величием. Особенно в осенние дни и белые, весенние ночи. Не сейчас, не летом. В летние месяцы он был жаркий, грязный.

Где-то здесь надо было снять квартиру, да непременно с мебелью, да непременно в бельэтаже. Князь Парцвания не мог ютиться на задворках или где-нибудь на верхотуре.

Тучи клубились над самыми крышами. Из-за Казанского собора двигалась свинцовая масса. Время от времени она обрушивала на город удары грома.

Дождь забарабанил по кожаной крыше пролетки, зашумел по мостовой. Ее дубовые торцы заблестели. Вверх ногами поплыл, заструился зыбкий мир: кривые, перевернутые стены домов, разноцветные рассыпающиеся фигурки.

Сергей вспомнил, как около двух лет назад на этой же площади тоже разбежались люди, а их топтали копытами кони и хлестали нагайками. Тогда не пенился дождь, но вспенилась кровь. Первый раз после бунта декабристов царь разгонял в столице недовольных.

Александр II ни минуты не колебался, натравив на безоружных студентов полицию и жандармов.

А в Харькове и Одессе революционеры не выдержали, схватились за оружие. Но их отчаянная оборона привела только к новым арестам. Да и что могли сделать несколько пистолетов против сотен полицейских и солдат?

Открытое сопротивление в городах сейчас невозможно. Сергею это было ясно, как божий день. Что такое Россия? Огромная крестьянская страна. Тысячи деревень, сотни городков, мало чем отличающихся от деревень. Всего несколько крупных городов, где есть люди, которые могут взяться за револьвер. Но как раз в этих городах расположена почти вся воинская армия страны!

По сути дела никаких городов нет, а есть военные лагеря. Против одного революционера — рота солдат. Энрико удивлялся, почему мы не возводим баррикад. Взглянул бы он на Петербург. Целые улицы населены войсками; так и называются: Первая рота, Вторая рота, Третья рота...

Пройдет еще немало времени, прежде чем условия для городской революции станут в России благоприятны. А пока, пока неизбежна скрытая, подпольная борьба.

* * *

На конспиративной квартире его встретила Соня. Он обнял ее и расцеловал. Она нисколько не изменилась — все такая же молоденькая. Ее круглое личико сияло от удовольствия, звонкий голос рассыпался колокольчиком, она не отходила от Сергея, ей все было интересно.

Она сказала, что правительство само подписало себе приговор. У революционеров теперь только один путь. Хотя некоторые считают, что надо по-прежнему вести пропаганду в народе.

— Пропаганда — вещь проверенная, — заметил Сергей.

— Лучшие наши пропагандисты в Харьковском центре, — нервно сказала Соня. — Рогачев, Волховский, Мышкин... Вы хотите пополнять тюрьмы?

— Три года назад вы думали иначе.

— За три года утекло много воды, Сергей. Нужна прежде всего организация. Она уже есть. Почти есть.

— И никакой пропаганды?

— Мы будем издавать газету, но сугубо политическую.

— Газета должна быть для всех.

— Нет, — резко возразила Соня, — хватит всеядности. Нужна газета, чтобы укрепить организацию, а не нашим и вашим: и мужикам, и купцам, и нигилистам.

— Вы преувеличиваете.

— Может быть. Но нельзя жить, как прежде. Вы-то не собираетесь опять идти в народ?

— Это невозможно.

— Вот именно. Надо показать, что мы умеем не только беседовать с мужиками на посиделках.

— И писать для них сказки? Так?

— Нет. Книжки для крестьян тоже нужны. Но вам мы поручаем другое — политическую газету.

Сергей уже не сказал бы, как в первый момент встречи, что она не изменилась. Она изменилась, и даже на ее чистом, выпуклом лбу временами обозначалась строгая морщинка, которой раньше Сергей у нее не замечал.

Он подумал, что посторонние люди будут в ней всегда ошибаться. Привлекательное личико, стройная фигурка, мелодичный смех — это так не вяжется с глубокой мыслью и серьезными делами. Хотя женскую эмансипацию провозгласили давно и о русской женщине писали во всеуслышанье и Тургенев, и Герцен, и Некрасов, а все же вековые привычки побеждают: на женщину смотрят, как на «слабый» пол. Наверное, и последний процесс не поколебал предвзвешенности российских обывателей. Впрочем, кто был на этом процессе? Кто, например, видел, как эта девушка, вызванная в суд одна, не зная решения товарищей игнорировать судилище, сумела правильно и смело отвечать судьям? Для обывателей революционерки вообще не женщины, а «стриженные девки», чуть ли не ведьмы. А они — милые, обаятельные, полные ума и женской прелести.

— О чем вы задумались? — спросила Соня.

— Да так, — встряхнулся он, — вы кого-нибудь любите, Соня?

— Какой вы смешной, Сергей. Не сердитесь, что я так говорю. Вы действительно смешной. Смешной и добрый. И ужасно большой. Вы похожи на Пьера Безухова. Только Пьер Безухов мог так задать такой вопрос.

— Почему же только Безухов? — смутился Сергей.

— Не знаю... — Искорки в ее глазах исчезли, лицо Сони было задумчивым. — Наверное, потому, что Пьер хорошо чувствовал людей. Помните, он всегда знал, что происходит с Наташей? А я как раз сейчас думала... Вы так неожиданно спросили. Вам я отвечу. Я не любила, Сергей, я была девчонкой. Я все спешила, спешила куда-то. А потом три года под надзором, три года бездействия. Хуже этого ничего нет. Но в это тягучее время я научилась вникать в людей. Я стала их видеть по-другому. Не только недругов, но и друзей тоже. Да, так странно... Я полюбила, Сергей... Я люблю одного человека. Вы его знаете. Но не будем сейчас об этом.

Сергей кивнул и подумал, что сам, кажется, еще не научился по-настоящему всматриваться в своих друзей. Носит его где-то за тридевять земель, мелькают люди, с которыми

он никогда не будет связан на всю жизнь, а в России друзья уходят на каторгу и в ссылку, жертвуют собой без оглядки, и своей чередой, несмотря ни на что, приходит к ним настоящая любовь.

И опять Сергею показалось, что он видит в милом лице Сони какие-то новые черты, ускользавшие от него раньше, до ее признания.

— Я принимаю предложение, — сказал он. — А как будет называться газета?

— Это уже по вашей части.

— Есть, по-моему, одно хорошее название, — сказал Сергей. — Я бы его дал нашей газете. Старое название. Помните, вскоре после реформы в Петербурге создали организацию?

— «Землю и волю»?

— Да. Это ведь и наш лозунг: земля — крестьянам, воля — всему народу.

— Видите, я была права. Вы же родились для газеты. А мы вам скоро доставим замечательный материал. Я завтра еду в Харьков. Хотим освободить Мышкина.

— Я понимаю, — Сергея охватило беспокойство, — его надо первым. Но вы все предусмотрели?

— В Харькове уже работает группа.

— А если поеду и я?

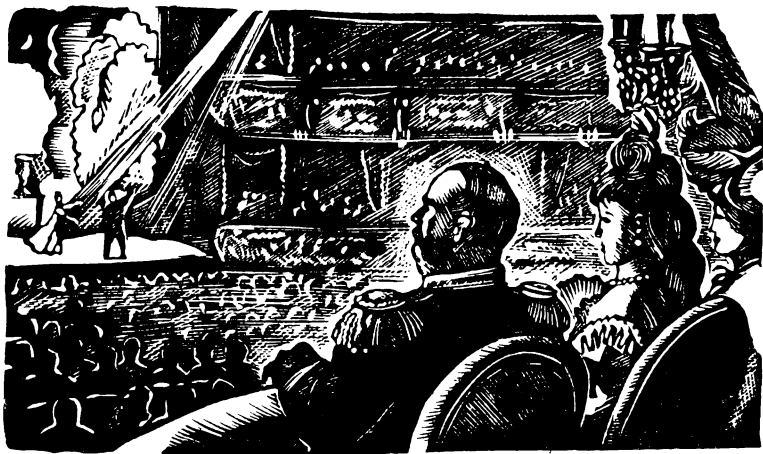
— Это пока излишне.

* * *

Сергей не хотел так вот просто, буднично взять и расстаться с Соней. Она уезжала на опасное дело, и ей надо было устроить торжественные проводы. Он знал, как она любит театр, а риск был не так уж велик, — и взял ложу в Мариинский театр.

Давали «Пророка», витиеватую оперу Мейербера, но выхода не было, вечер оставался один. В конце концов и «Пророк» в императорском театре звучал великолепно. Что-то, а оперу и балет в Петербурге держали на высоте.

В ложе бельэтажа собралась оживленная компания — пять молодых людей и три девушки, старые и новые друзья Сергея: Александр и Андриан Михайловы, Иван Баранников, Николай Морозов, две Ольги — Натансон и Любатович — и Софья Перовская.



Они мало чем внешне отличались от завсегдатаев оперных спектаклей, и мало кто к ним присматривался. Лишь из противосторонней ложи все антракты упорно разглядывал их какой-то господин, но им остались неизвестны ни причина, ни итоги его разглядывания.

Господин этот в штатском мог бы спуститься в партер и, проскользнув во второй ряд, нагнуться к уху генерала в голубом мундире корпуса жандармов. Но господин не проскользнул и не нагнулся, потому что генерал ни за что бы не поверил, что в театр явились оправданные по последнему суду и разыскиваемые полицией (увы, надо же исправлять допущенные огрехи) опасные преступники. Господину мучительно маячили в полумраке зала знакомые лица, но он так и не решился. Это было невероятно. А может быть, сладкая музыка притупляла его готовность доложить.

Что касается генерала, то он в этот вечер и вовсе был далек от страхов и подозрений. Он отдыхал.

Последний месяц был хлопотен. Чего стоило одно только вооруженное сопротивление полиции на юге! Бандитов арестовали, они будут преданы суду и наказаны. Но это же неслыханно! Эта страшная девка Засулич вызвала настоящую чуму. Раньше нигилистов хватали за шиворот, и они как миленькие шли, не пикнув. А теперь? Четверо убитых полицейских! Из Одессы передали: убит тайный агент третьего отделения, бесценный человек, он доставлял прямо

из их логова информацию... Да, надо стянуть ошейник потуже.

«Хорошо, что мы заставляем их прятаться. Слава богу, в Российской империи можно еще свободно ходить по улицам и спокойно сидеть в театре, и никакой сволочи рядом с тобой нет. У нас, черт возьми, не Франция! И ничего подобного и впредь не будет!»

Генерал Мезенцев, начальник третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, шеф русских жандармов, мерцаая золотом погон, орденов и аксельбантов, расслабленно слушал журчащую музыку Мейербера.

* * *

Мышкина не освободили.

Сергею стало известно, что готовят нападение на конвой, который будет сопровождать других заключенных. Среди них называли и Дмитрия Рогачева. Сергей оставил газету на прибывшего из-за границы Клеменца и поспешил в Харьков.

Он приехал туда поздно вечером. «Хвоста» за ним не было, и Сергей, не волнуясь по этому поводу, медленно шел по знакомым улицам.

Его ждали в условленном месте, но ноги сами несли в другую сторону. Он проходил улицу за улицей, не задумываясь о маршруте, но этот маршрут был неотвратим. Сергей уже в поезде знал, что вечером, в темноте окажется возле родительского дома. А там видно будет...

В поезде он решил, что поступит в зависимости от обстановки, но сейчас убеждал себя, что в любом случае должен сегодня вечером увидеть мать и отца. Завтра может оказаться поздно, а сегодня ему помешают разве что засидевшиеся у родителей гости. Вряд ли полиция известно, что он в России, а тем более в Харькове. Здесь она вообще пока дремлет, так что надо пользоваться. «Когда мы отобьем заключенных, я уже не смогу заглянуть к старикам».

Он перемахнул через заборик и едва сделал несколько шагов, как к ногам с рычанием подкатился лохматый комок.

— Ах, ты, старый плут, — зашептал Сергей, присев на корточки, — несешь еще службу?

Столбик пытался лизнуть его в лицо и от радости поскуливал. Помнил, значит, и любил по-прежнему, хотя, если прикинуть, много ли Сергей возился с ним? Но у собак какие-то свои законы привязываться к человеку.

Столбиком его назвала мать — он обожал еще в щенячьей поре замирать столбиком, сев на задние лапы, в ожидании кусочка мяса, орешков или еще чего-нибудь, не менее вкусного.

Столбик крутился возле ног и вместе с Сергеем вбежал в сени со стороны сада.

Сергей приложил ухо к двери. В доме было тихо. Он постучал.

Без вопроса (так было всегда) дверь распахнул отец. Он, казалось, нимало не удивился, увидев сына, молча пропустил его в прихожую и крикнул:

— Легок на помине!

Мать выбежала из комнаты, вскрикнула и приникла к груди Сергея.

Он обнял ее, и они, прижавшись друг к другу, вошли в комнату и сели на диван.

Мать не спускала глаз с Сергея, а Сергей, разглядывая ее, отметил, что она мало переменялась за последние два года, только вот взгляд у нее стал более пристальный.

Отец устроился в своем плюшевом кресле с высокой спинкой и тоже внимательно смотрел на сына.

Отец был совсем молодцом, даже седые волосы старили его мало.

Он крепкими, красивыми пальцами набивал трубку и с едва уловимой усмешкой задавал вопросы:

— Мы уж не чаяли тебя видеть. Надолго ли?

— У меня всего один вечер, — сказал Сергей.

— Почему же, Сереженька? — дрогнувшим голосом спросила мать. — Мы тебя два года не видели.

— Так получается, мама, — вздохнув, ответил он, — я не волен распоряжаться собой.

— Ты слышишь, мать? — пустил клуб дыма отец и обратился к Сергею: — Ты что же, опять на военную службу поступил?

— Нет.

— А институт свой кончил?

— Пока нет.

— То-то я гляжу, на инженера ты тоже мало похож.

Коммивояжером заделался? — Он кивнул в сторону саквояжа, который Сергей поставил в углу.

— Что-то вроде этого.

— Гм, — отец опять ушел в клуб дыма, — плохо верится.

— А почему ты не писал так долго? — спросила мать.

— Не было возможности. Да я все думал: вот-вот заеду к вам.

— Заехал, — пробурчал отец, — ночью, с черного хода, а утром опять лыжи наостришь?

— Так надо.

— Ну, ладно. Бог тебе судья. Но нас, стариков, тоже не забывай. Не чужие. Вырастили, выкормили тебя. Мать совсем шалая стала. Все ждет тебя, а ты ни гугу. Нехорошо, Сергей.

— Я все не могу привыкнуть, что ты где-то один мотаешься, — слабо сказала мать, и у Сергея от ее слов и от ее голоса сжалось сердце.

Мать первый раз так говорила с ним. Он снова посмотрел в ее лицо, оно казалось спокойным, но Сергей уже не мог верить этому спокойствию. Видно, оно давалось матери большим усилием. Она не хотела расстраивать его, и лишь голос выдал ее чувства. Сергей вспомнил, как лихо сказал когда-то Соне, что мать привыкла к его постоянному отсутствию. Нет, этого просто не могло быть. Матери никогда не привыкнут и не примирятся с тем, что рядом с ними нет их детей.

Сергей взял осторожно ее руку и поцеловал. Она улыбнулась.

— Ты еще совсем мальчишка. Так было хорошо, когда ты служил в Харькове. И нам спокойно.

— Значит, военную карьеру ты забросил окончательно? — спросил отец.

— Нет, почему же? — рассеянно ответил Сергей, встав с дивана, прохаживаясь по комнате и беря в руки знакомые с детства безделушки.

— Надеешься стать генералом?

— Генералом — нет. А вот из пушки я научился стрелять неплохо. Так что моя выучка пригодилась.

— Где же?

— В Сербии.

— Что же ты не рассказываешь?

— А что рассказывать? Ты же знаешь: славян освободили. А я пробыл там недолго, всего три месяца. Но было все — и ночевки в горах, и марши по горным дорогам, и стычки с турками.

— Почему же ты и оттуда уехал раньше срока?

— Вблизи это восстание оказалось не таким, каким я его себе представлял.

— Гм, — пустил густой клуб дыма отец, — у отставного поручика Кравчинского, как всегда, повышенные требования к людям.

— Да нет, — расслабленно улыбнулся Сергей, — просто у меня и у них были разные цели.

* * *

Он вспомнил, как после первой схватки с турками Пеко Павлович радостно хлопнул его по плечу и сказал:

— Здорово ты им всыпал! Я теперь понял, что такое пушки; оставайся с нами.

— А я разве не с вами? — удивился тогда Сергей.

— Нет, не так, — возразил Пеко, — тебе нехорошо дома. Живи у нас. Прогоним турок, поедешь в Сараево. Самый красивый город, сам увидишь.

— Что я буду там делать?

— Найдем дело! Хочешь — артиллерией командуй. Всей артиллерией Боснии и Герцеговины! Будешь большой начальник.

— Не хочу я большим начальником, Пеко.

— Хорошо, — не унимался Пеко, — не хочешь начальником, живи так. Мы тебе дом построим, землю дадим. Живи, как хочешь. Жену тебе найдем. Ты ведь неженатый?

— Неженатый.

— Вот и хорошо! Красавицу тебе сосватаем! Такую красавицу, ах, ты же видел наших девушек!

— Сначала надо прогнать турок, — отшучиваясь, напомнил Сергей.

— Почему ты такой несговорчивый?

— Я очень сговорчивый, — шурился Сергей. — И девушки мне ваши нравятся. И Сараево — замечательный город. Но я все же здесь не останусь. Ты не сердись, Пеко. Ты ведь сам не остался в России.

— Я должен освободить свою родину.

— Я тоже, — сказал Сергей.

Именно в тот раз он бесповоротно понял, что не сможет долго оставаться у Пеко и его друзей.

Идеал жизни, который манил Пеко Павловича, не вдохновлял Сергея. Он пытался говорить с Пеко о всеобщем равенстве, о социализме, но ко всему этому Павлович был глух. Для него существовало только одно — пятисотлетняя власть турецких беков, унижение нации. С этим надо было покончить. Что касается власти богачей землевладельцев, то на нее Пеко не покушался.

* * *

— Ты знаешь, что говорил мне майор Перегудов? — вернул его из прошлого отец.

— Он уже майор?

— Да, и представлен к полковнику. Думаю, скоро получит. А ведь он почти твой ровесник.

— В этом я не сомневаюсь, — улыбнулся Сергей. — Так что же тебе говорил оный Перегудов?

— Он говорил, — строго глядя в глаза сына, произнес отец, — что ты на опасном пути, и наемкнул мне насчет того, чем ты можешь заниматься в Петербурге.

— А для тебя это разве такая уж новость?

— Нет, разумеется, нет, — сердито сказал отец, — но когда это становится известно многим, это уже опасно. Очень опасно. Ты подумай, чем все твои афронты могут кончиться.

— Я уже подумал, отец.

— А о нас ты подумал? Ты посмотри на мать. Она вся извелась.

— Не ссорьтесь, — заволновалась мама, — ты, наверно, голодный, Сереженька?

— Не очень.

— Ну, как не очень? С дороги ведь. Я сейчас накрою.

Отец обиженно замолчал, уйдя в свою трубку. Сергей боялся растревожить его снова каким-нибудь неосторожным словом.

Он любил своего старика, хотя они и были совершенно разными людьми. Сергей многое бы отдал, чтобы родители были спокойны. Многое... Но тем делом, которому он посвятил свою жизнь, Сергей пожертвовать не мог.

Столбик, дуралей, развалился посреди комнаты на ковре и время от времени блаженно стучал по нему хвостом.

Из столовой раздавались легкие звуки расставляемой посуды. . .

Заснул Сергей не сразу. Он долго лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к шорохам и скрипам старого дома. Всхлипывая, отбивали удары часы. На стене отцовского кабинета, в котором постелили Сергею, обнадеживающе улыбался ему в лунном свете акварельный портрет матери.

* * *

В урочный час Сергей сидел в тени акации на перекрестке улиц, по которым должны были проехать жандармы с заключенными (обвиненных по процессу «193-х» переводили в Белгородскую тюрьму).

Улицы эти Сергей знал как свои пять пальцев. Хотя и много лет прошло, но нисколько они не переменялись. Трава на них все так же растет и поросенок трется боком о шершавые доски забора.

Вспомнился первый вечер по приезде сюда, в Харьков, на службу. . .

Мать и отец после долгого, застольного разговора оставили его одного, а он не лег, распахнул окно и сел на подоконник.

Белые пятна домов смутно проступали в гуще деревьев. В таких домах, на такой улице жизнь должна быть мирной, доброй, в обломовском халате. Не то, что в Петербурге, с его строгими проспектами. Да, Петербург. . . Начало жизни. Начало дружбы. . . Где-то за деревьями в вязкой темноте взбренькнула гитара, рассыпался смех.

На какое-то мгновенье Сергея потянуло туда, в пьяную темень, где дарят этот загадочный смех, и ласковый блеск близких глаз, и терпкое тепло рук. . . Но он стряхнул с себя наваждение. Им владела гордая отрешенность от всего будничного.

Звенели цикады, оживляя тишину. А может быть, никаких цикад и не существовало? Тишина звенела сама по себе? Может быть, она всегда пронизана этим звоном?

На севере, в Петербурге, тишина звучит по-другому. Над городом застывает незыблемый сумрак, и в нем,

словно в прозрачном колоколе, цокают подковы патрульных лошадей. В Петербурге тишина возникает по команде. Ночью. Когда все спят, а городовые объезжают улицы и площади.

А какая тишина в Москве? в Одессе? в Нижнем Новгороде? «Над всей Россией тишина...» — всплыла строка Некрасова. Но пусть никто не обманывается насчет этой тишины. Затихшие всегда висит над землею перед бурей.

Сергей улыбнулся этому сравнению, но оно не показалось ему ни вычурным, ни ложным. Он отчетливо увидел освещенную косыми лучами солнца присмирившую траву и низкие, грозные клубы туч, готовые ударить в землю молнией и градом...

И вот опять те же улицы, та же сонная, мирная жизнь.

Летом-то харьковские окраинные улицы хороши, по своему, конечно. Тополя, акации, сушь. А осенью, бывало, здесь в грязи даже армейские фуры завязали...

* * *

Из-за угла выкатилась повозка. Заключенные сидели к Сергею спиной. Он узнал голову Дмитрия.

Повозка катилась быстро, жандармы гнали коней рысью, пыль клубилась возле колес и тянулась за повозкой длинным шлейфом. Через минуту они были уже на перекрестке.

Сергей встал (так было условлено): жандармы выбрали окольный путь.

Он заметил, как исчезла фигура сигнальщика в дальнем конце улицы, и, повернувшись опять к повозке, встретился глазами с Дмитрием.

Заключенных предупредили, но Дмитрий, конечно, не ожидал увидеть Сергея.

О чем он в этот миг подумал? Он и его товарищи не знали, когда совершат нападение. Они сейчас ничего не могли сделать для себя. Им надо было сидеть и ждать. А это ведь хуже всего. Сидеть со стальными наручниками и ждать.

Повозка скрылась за поворотом.

Сергей всматривался в знойный конец улицы.

Дальний переулок мертвенно колебался в ослепительном солнце.

Наконец Сергей увидел знакомую фигуру сигналь-

щика. Он держал в руке соломенную шляпу. У Сергея обрывалось сердце: ничего не вышло. Жандармы успели проскочить.

Но почему, почему? Не угадали их скорости? Запутались в переулках?

Перед глазами стояло лицо Рогачева.

«Димитрий, Димитрий! Ты, наверное, клянешь меня и всех нас последними словами. И поделом. Тебя сошлют в Сибирь, но до этого ты год или два просидишь в Белгородской крепости. Два года в одиночке, а потом Сибирь... Может быть, на всю жизнь, если не удастся бежать. Но кому это удавалось? Из ссылки еще бегут, но не из сибирских тюрем».

Вспомнилось, как страдал и горячился Димитрий, подозревая его и Леонида в скрытности. Он ведь пришел в училище позже и не сразу был принят Сергеем и Леонидом в число их самых доверенных друзей...

«Да, мы были мальчишки, но мы уже тогда верно выбирали дороги и друзей. А сегодня я ничего не смог для тебя сделать...»

Вторая повозка тоже стремительно выкатилась из-за угла, но не последовала за первой. У жандармов были какие-то свои, неведомые революционерам причины менять маршрут.

Сергей пропустил мимо себя повозку с двумя заключенными и двух жандармов верхом, встал и быстро пошел следом за ними.

Навстречу повозке выехала из-за угла кибитка. Повозка притормозила возле кибитки — там сидел офицер в жандармской форме.

Один заключенный спрыгнул на землю, жандарм на лошади двинулся на него. Кто-то выстрелил — жандарм свалился. Лошади, испугавшись выстрела, понесли повозку.

«Надо же было резать построики!» — в отчаянии подумал Сергей и побежал к кибитке.

Он помог заключенному — тот был с цепями на руках — сесть в кибитку. Кучер развернул ее, и они помчались за повозкой, верховым жандармом и нападавшими.

Высунувшись из кибитки, Сергей видел погоню, слышал выстрелы и понимал, что ни один из них не попадал в цель.

Потом выстрелы смолкли.



Из облаков пыли выскочили два всадника. Один из них закричал:

— Поворачивай!

— Почему прекратили погоню? — рассвирепел передетый жандармом Фомин.

— Кончились патроны, — человек с запыленным лицом взмахнул сверкнувшим на солнце револьвером.

— Дальше нельзя. Все пропадем! — крикнул второй.

Он был прав. Надо было поворачивать назад. Ничего другого не оставалось.

* * *

— Как вы смели мазать? — встретила их разгневанная Соня, слезы блестели в ее глазах. — На что вы годитесь? Не могли попасть в одного жандарма!

— Стрелять на скаку очень трудно, — вступился Сергей.

— Молчите уж вы! — напустилась на него Соня. — Вы тоже хороши. Почему не гнались дальше?

— Они ускакали раньше. Пока мы развернулись...

— Надо было гнаться до конца!

Соня ничего не хотела понимать. Ее упреки были несправедливы, но никто ей не возражал.

Ковалик, склонив голову, пснуро водил пилкой по



стальному манжету. Он тоже обвинял себя. Зачем первым выпрыгнул из повозки? Почему не ударил цепями по голове жандарма, который держал вожжи?

Сергей, вспоминая схватку, тоже перекраивал ее по своему. Но что бы они все сейчас ни придумывали, а Войнаральского уже не освободишь.

Хорошо еще, что сами вовремя вернулись. Соне сейчас что ни говори — она как слепая. А погонись еще полверсты, как раз попали бы в лапы к жандармам: один из сигнальщиков видел, как со станции навстречу погоне выехал отряд.

Фомин швырнул в угол голубой мундир, подсел к Ковалику и забрал у него пилку.

Соня смотрела в окно полными страдания глазами. Никто в комнате не произносил ни звука. Только визжала стальная пилка.

Сергей долго потом помнил этот упорный визг и тяжелый звон цепей, упавших наконец с рук Ковалика на пол.

* * *

В Петербурге Сергею неожиданно досталось от Клеменца — почему оставил Соню?

— Ты бы поговорил с ней сам, — устало заметил Сергей.

— Надо было не говорить, а взять ее и привезти.

— За руку? Ты же ее знаешь. Она сказала, что останется и будет готовить новый побег, прямо из тюрьмы.

— Сумасшествие!

— Почему? Если готовить основательно... Она просила прислать новых людей и деньги.

— Надо переждать, — сказал Клеменц, — вся полиция Харькова на ногах. Нельзя сейчас туда никого. Неужели она не понимает?

— Она понимает. Она все понимает. Но она права: скверно сидеть сложа руки.

— Лезть на рожон? Что мы выиграли? Освобожден Ковалик, зато схватили Фомина. Хорошо еще, что ты ушел. Нет, мы что-то делаем не так.

Сергей вспомнил, как на Харьковском вокзале Фомина опознал какой-то тип. Сыщики так торопились, так суматошно набросились на Фомина, что Сергею удалось в свалке скрыться.

«В чем-то Клеменц прав, схватки неравны, и мы так часто теряем лучших бойцов. Что же делать? Отступить нельзя. Но надо действовать обдуманнее, осторожней, а удары наносить с большей силой. Нас карают — значит мы тоже должны карать».

— Что-то от нас уплывает, — с прежним сожалением сказал Клеменц, — или мы сами куда-то уплываем.

— Все течет, все меняется, — пошутил Сергей.

— У нас есть газета, — продолжал Клеменц, — но неизвестно еще, что она дает. А пропаганду в народе мы похоронили.

Сергей понимал настроение Клеменца: он был рожден для такой пропаганды, но ушел в подпольную работу. Может быть, она не приносила ему удовлетворения?

— Ты знаешь, о чем я думаю? — вновь заговорил он. — Когда-нибудь мы вернемся к такой пропаганде, но задавать в ней тон будут другие.

— Кто же?

— Не знаю, как среди крестьян, а в городе это будут сами рабочие.

— Откуда у тебя такие мысли?

— Повидайся с Халтуриным.

Сергей нашел его в мансарде, населенной беднотой Петербурга.

— Вот это да! — обрушил он на Сергея неподдельную радость. — Сергей!

— Георгий, — улыбался ему Сергей, — Георгий. Князь Парцвания. Рад вас видеть, мастер, живым и здоровым.

— А что нам делается? — в тон ему ответил Халтурин. — Столярничая помаленьку.

— Где же?

— На верфи. Отделываем яхту великого князя.

— О, вы делаете успехи, Степан.

— Андрей, — поправил Халтурин, — вы запомнили.

— Да, да, — весело ответил Сергей, — у вас шумные соседи?

Он кивнул на стены.

— Нет, им до меня нет никакого дела. Я чудак и книжник. Но ко мне относятся неплохо. У меня можно занять до получки. Я не отказываю, потому что один и водку не пью.

— Что же вы в таком случае делаете? — рассмеялся Сергей.

— Приобщаю к своей вере других.

— Успешно?

— Да как сказать... — По выражению его лица было видно, что эти дела идут совсем неплохо. — Приходится часто менять работу. Только-только начнешь — и на тебе, увольняйся.

— Труднее, чем в прошлые времена?

— Отчасти. Но и народ стал другой. У меня теперь библиотека — двести книг. Все на руках. Сейчас должны прийти с верфи. Сами увидите.

— Значит, вы за то, чтобы работать по-старому?

— По-старому не выходит. Преследуют круче. Меня вовремя предупреждают. Пока держусь. Больше двух-трех месяцев нигде не удержишь. Шпиков стало больше.

— Мы сами виноваты, — сказал Сергей.

— Да ведь они — как поганые грибы. Один раздавишь — новый выскочит.

— Значит, мы против них бессильны?

— Поганки надо не поодиночке сбивать, а раздавить грибницу.

Халтурин сказал это убежденно, и Сергей удивился и обрадовался тому, как точно он выразил близкую ему мысль.

За два месяца, проведенных в России, Сергей успел почувствовать, как плотно сжаты революционеры во враждебных тисках. Жандармы, полицейские, явные и тайные соглядатаи, доносчики, шпионы — вся эта камарилья, как туча комаров, жалила безжалостно и больно.

Сергей взял книгу, которую читал Степан. Это была «Гражданская война во Франции» Маркса на немецком языке.

«Вот как, — подумал Сергей. — Помнится, когда-то на одной сходке Халтурин жаловался, что, не зная языка, не может сам прочесть те книги, о которых говорят студенты. А теперь не исключено, этот столяр в простенькой косо-воротке заткнет за пояс своих недавних учителей».

В дверь постучали, Халтурин крикнул «входи», и в комнату вошел высокий парень. Увидев незнакомого человека, он замялся, но Халтурин поспешил сказать:

— Знакомся, Василий, это мой старый товарищ, Георгий. Ты не гляди, что он одет, как барин. Он по книжному да по журнальному делу, так ему надо гладко наряжаться. Верно я говорю?

— Все верно, — отвечал Сергей, садясь на табурет в сторонке.

Он видел, что Василий, несмотря на слова Халтурина, стесняется.

— Василий самый наш злой книгочей.

— Какой же я злой? — Рабочий достал из-за пазухи несколько тоненьких книг. — Вот, возвращаем.

— Ты, понятно, не злой, ты у нас добряк, воробья за даром не обидишь. Только не хотел бы я быть на месте нашего заказчика.

— Это почему же?

— Очень ты выразительно на него давеча глядел. — Халтурин объяснил Сергею: — Заявился к нам сегодня сам князь.

— Одного я не пойму, — сказал Василий, — не смыслит ничего, а ходит, указывает.

— Так он же князь.

— Князь, — фыркнул Василий, — инженер юлит перед ним и мастер. Да ну их! Книги я принес. Спасибо. Просьба к тебе, приходи завтра на квартиру, соберемся, как обещали.

Несколько лет Сергей не общался с петербургскими рабочими, и ему было очень важно наблюдать эту короткую встречу. Один был испытанный пропагандист и конспиратор. Другой, судя по всему, только становился на этот путь. Он будет делать это основательно и даже с некоторой оглядкой. В нем явно живет тяга к знаниям, прочная ненависть к хозяевам и в то же время ощущается какая-то крестьянская обстоятельность и осторожность.

Когда Василий ушел и Халтурин спросил Сергея, что он о нем думает, Сергей сказал о своем впечатлении.

— А ведь правильно! С ним еще повозиться надо, сто́ит. Да вот и на верфи этой я долго не задержусь.

— Вы не рискуйте напрасно, Андрей, — сказал Сергей.

— Напрасно я не рискую, не имею права. Но так обидно бросать начатое! А хотел бы я поглядеть, — вдруг оживился он, — как его высочество на торжественный спуск приедет. Между прочим, охраняют его как цацу заморскую.

— Негодяев всегда хорошо охраняют.

— А шеф жандармов?

— Что шеф?

— Один по Невскому разгуливает.

— Вот как? Так уверен в своей силе?

— В безнаказанности.

* * *

Никто не мог похвастаться такими успехами в пропаганде, как Халтурин. Да никто и не пытался соревноваться с ним. Дело тут было даже не в личных свойствах Степана, а в том, что он был для рабочих свой человек.

Клеменц наверняка говорит лучше, но Клеменца надо привести на завод и увести. Степан приходит сам. Он знает два ремесла — он слесарь и столяр. А что могут другие? Пилить дрова? В городе это не годится.

Клеменц надеялся, что Сергей познакомится с делами Халтурина и вновь поверит в успех пропаганды. Но Сергей сделал другой вывод.

Он увидел, что даже Халтурину тяжело ее вести. Степан должен прятаться, опасаться шпионов, бросать в одном месте и начинать в другом, потому что на другом заводе его еще не знают. И каждый раз ему приходится по кирпичику возводить здание заново.

«Многое ли он успел? Сколько вообще рабочих в наших рядах? Единицы. А вся масса народа, как стена, остается непроницаемой и непреодолимой. Мы бьемся об нее который год, и немудрено, что наконец стали изнемогать. Надо искать что-то новое.

Почему мы спокойно смотрим, как нам мешают? Если мы не можем вести пропаганду своих идей хотя бы так, как это делают социалисты во многих странах Европы, мы должны сопротивляться».

* * *

Несколько человек из «Земли и воли» собрались по просьбе Сергея у него на квартире (название газеты перешло к революционной организации).

— Ты хочешь, чтобы жертв стало еще больше? — спросил Клеменц.

— Дело разве во мне? — Сергей чувствовал, что Клеменц, как всегда, будет мягко, но неуступчиво отстаивать свое. — Но до каких пор прятаться, как мыши?

— Говори, что задумал. Неспроста же позвал.

— Я предлагаю вынести приговор шефу жандармов.

— Вот оно что, — Клеменц нахмурился.

— Это на всю Россию, — сказал Александр Михайлов, степенностью и окладистой бородой напоминавший Илью Муромца. — Шеф жандармов не сыщик.

— Ты против? — прямо сказал Сергей.

— Нет, я не против. Но это не простое дело, Сергей. Надо, чтобы все знали, за что казнят таких, как Мезенцев.

— Мезенцев не тот кандидат, — Клеменц нервно трогал свой калмыцкий ус. — Чтобы вынести приговор, надо обвинить бесспорно.

— А вы еще сомневаетесь? — не выдержал самый молодой из всех, Александр Баранников; он подражал в манерах и разговоре Михайлову, но был слишком горяч. — Это же негодяй, каких мало!

— Каких много, — невозмутимо возразил Клеменц, —

мы должны беречь свою репутацию, Саша. Мезенцев — шеф жандармов, верно. Но негодяй он не больше других жандармов. А нам придется убедить всех, что именно он заслужил смерть.

— Всех не убедишь, — усмехнулся Халтурин. — Но обвинение должно быть. Это так.

Сергей ожидал, что заговорят об этом, и заранее приготовился отвечать. Против Мезенцева революционеры могли выставить по крайней мере четыре обвинительных пункта. Их было вполне достаточно, чтобы убрать этого царского палача и чтобы имеющие совесть люди и в России, и за рубежом согласились с приговором.

— За недавнее время, как вам известно, — сказал он, — генерал-адъютант Мезенцев своей волей ввел административную ссылку и тем дал жандармам право отправлять неугодных им людей на верную гибель без всякого суда. Такого произвола не было, если память мне не изменяет, даже при Николае. По прямому приказу Мезенцева тюремщики надругались над тридцатью заключенными в Петропавловке. Запугиванием и угрозами он вымогал у свидетелей в Одессе нужные для жандармов показания. Чем это кончилось для наших товарищей, вы тоже знаете. Самое гнусное в этом то, что подобные методы добычи показаний могут стать нормой в царском суде. Наконец, это главный виновник отмены сенатского приговора по процессу ста девяноста трех. Я предлагаю вынести шефу жандармов смертный приговор.

Клеменц все щипал свой ус. Сергей видел, что, несмотря на все доводы, он против таких действий.

— Что ты думаешь, Александр? — спросил Сергей Михайлова.

Михайлов, видимо, не совершал над собой никаких усилий:

— Палач заслужил свою смерть.

— Смерть, — сказал Халтурин.

— Смерть, — согласились остальные.

Клеменц посмотрел на Сергея внимательно:

— Кто же приведет приговор в исполнение?

Сергей ответил:

— Я предложил — мне и выполнять.

— Одному?

— Да.

— Это неправильно, — вмешался Халтурин, — надо еще обдумать. Зачем очертя голову рисковать?

— Глупо, — с грубоватой прямоотой поддержал его Михайлов, — одного мы тебя не пустим.

— Ты не спорь, Сергей, — Клеменц накрыл своей рукой ладонь Кравчинского, — никто твоего права совершить приговор не отнимает. Я тебя понимаю. Тебе не будет покоя, если на это пойдет кто-то другой и его схватят. Но ты пойми и нас. Мы не можем тобой сгоряча жертвовать. Степан дело говорит — надо все как следует обдумать. Если уж этому суждено быть, сделаем так, чтобы жандармы не торжествовали.

* * *

За две недели каждый шаг генерала Мезенцева был изучен. Революционеры точно знали, где, когда и с кем он бывает. Решено было напасть на шефа жандармов в послеобеденное время, когда он покидал ресторан дворянского собрания.

В назначенный день Сергей налегке вышел из дому.

День был как день. Недавно начался август. Было тепло, светило солнце. Петербуржцы быстро к этому привыкают. Им кажется, что так будет долго. Они забывают дома плащи и зонтики и не ожидают ниоткуда никакого подвоха. День, ночь — сутки прочь. Дни похожи друг на друга, как братья-близнецы. Внимание к окружающему притупляется. Городские псы (их, правда, немного, полиция вылавливает) лениво дремлют на солнышке. И, как псы, лениво прохаживаются городовые. Им бы скинуть гремющую амуницию, поспать бы в холодке. . . В такие дни сам господь бог дремлет, отдыхая.

«Такой день лучше всего подходит для нас, — размышлял Сергей. — Все процессы кончены, судов нет, юстиция разъехалась по своим дачам. Меньше риска».

Друзья хотели вовсе исключить риск. Но Сергей отказался стрелять в Мезенцева без предупреждения, из-за какого-нибудь укрытия. Прятаться он не хотел. Ему не годился ни пистолет, ни тем более винтовка, из которых можно целиться во врага на безопасном расстоянии. Нет, шеф жандармов должен знать, кто его убьет. Сергей встретится с ним лицом к лицу.

В последние секунды своей жизни повелитель страш-

ного корпуса жандармов увидит, что его нисколько не боятся. И пусть это будет ему запоздалым уроком! А следующий кандидат на освободившуюся должность, может быть, призадумается, прежде чем ее занять.

За пояс под сюртуком был заткнут четырехгранный клинок.

Этот старый итальянский кинжал подарил Сергею при расставании Винченцо.

Кинжал деда, который был связан с карбонариями. Хранился кинжал почему-то у матери, и, когда Винченцо вышел из тюрьмы, мать, встречая его у тюремных ворот, принесла кинжал в корзине вместе с апельсинами, сыром и вином. «Я подумала, — сказала тогда она просто, — может быть, он тебе теперь пригодится».

Сергей трогал рукоять, покрытую тонкой проволоочной сетью, и думал о том, что такой кинжал вернее, чем самый совершенный пистолет. Все зависит только от твоей руки.

Собственная смерть на страшила Сергея. Он знал, на что идет. Знал, что его могут схватить. И хотя верил в удачный для себя исход, был готов и к тому, что его арестуют.

Впрочем, мысли об этом он отгонял. Если заранее настроиться на гибель, то нечего вообще рассчитывать на успех, нечего и браться за такое дело. К тому же в их замысле отнюдь не последнюю роль играло именно то, что казнивший Мезенцева уйдет живым.

В этом ему помогут и его друзья, и чудо-рысак Варвар, за которым не угонится ни одна полицейская лошадь, и даже жаркий день, расслабивший всех жителей Петербурга.

«Все должно произойти тихо, никаких выстрелов и взрывов. Один удар — и все. А там уже Варвар сделает свое дело — и останется лишь толпа перепуганных прохожих на панели. Пока наедет полиция, мы будем далеко».

Сергей рисовал в своем воображении решающую сцену, но понимал, что произойти может всякое и надо быть готовым ко всему.

Товарищи сейчас были напряжены до предела. Он это по себе знал. Они, впрочем, как и он, тоже готовы ко всему. Думая о них, он был спокоен.

Но чувство вины и сожаления отчасти мешало ему — из головы не выходила мать... Это чувство было сейчас абсолютно лишним, он сердился на себя, однако ничего с ним поделать не мог. Не от нас это зависит.

И той встречи около месяца назад тоже могло и не быть. Если бы он не пришел на ту студенческую вечеринку...

«Нет, нет, — прогнал он от себя такие мысли. — Это чудесно, что мы встретились. Что задумывать вперед? Жаль, если я причиню ей боль... Но я постараюсь не попасть к ним в лапы».

Тогда, среди десятка юношеских и девичьих лиц, он вдруг увидел ее лицо и уже не мог отвести взгляда. Сергей не смел подойти к ней в течение всего вечера, но в конце его они оказались рядом. «Вы еще придете?» — спросила она. «Обязательно, — ответил он, хотя еще два часа назад и не думал вновь побывать у этих студентов, — а вы?» — «Я тоже», — тихо ответила она...

Он шел размеренно, чтобы прийти на место минута в минуту. Маршрут был им выверен.

Две барышни, как две рыбки в аквариуме, в откинутых на лоб вуальках застыли за стеклом. На стекле матово вились буквы. Барышни сидели за столиком и держались пальчиками за ножки бокалов.

Они проплыли мимо Сергея.

«Всегда есть это заколдованное стекло, — машинально подумал Сергей, — в Париже, в Женеве, в Неаполе...»

Сергей вдруг почувствовал свою отчужденность в этом пестром, суетливом хаосе летней улицы. Он действительно был один, и даже мысли о друзьях, которые находились рядом, о чудесной девушке, с которой познакомился на вечеринке, не освобождали от этого мешающего чувства.

Мимо шли люди, он слышал обрывки разговоров, отмечал выражения лиц, его порой неосторожно задевали, но он не ощущал себя частью этого живого множества. Он был сосредоточен на своем и отрешен от всего. Толпа в испуге отшатнулась бы, узнав, что он несет ей. Люди стремятся к покою, к тихому счастью за хрупким стеклом. Они не задумываются, какой ценой покупают такое счастье.

* * *

Он выходил к Михайловской площади со стороны Садовой и еще издали увидел голубую пролетку, в которую был запряжен Варвар.

На облучке сидел кучер с окладистой бородой, и на ко-

жанных подушках, в небрежной позе — молодой щеголь: Михайлов и Баранников.

Пролетка стояла возле сквера.

Кучер поправил высокую шляпу, и Сергей понял, что все в порядке и ему надо по-прежнему не спеша двигаться к подъезду дворянского собрания.

Когда до него оставалось метров двести, дверь изнутри отворил швейцар и, придерживая ее, пропустил на улицу двух жандармов — одного в полковничьем мундире, другого в генеральском.

Это уже было неприятно. Сергей ждал одного — в мундире генерала.

Задача сразу усложнилась, но он решил не отступать. В следующий раз их может оказаться трое. С двоими справиться проще. В конце концов, есть и револьвер.

«Только бы Михайлов с Баранниковым оставались на месте. Они сейчас не знают, что я предприму. Хорошо, если не придется стрелять. Хотя Варвар не понесет. Его к выстрелам приучили».

До жандармов оставалось шагов сто.

Генерал Мезенцев разговаривал с полковником. Сергей их не слышал.

— В конце августа, не раньше, — говорил Мезенцев благодушно, но в ленивых интонациях и самом тембре голоса ощущалась важность.

— У вас усталый вид, Николай Владимирович, — сказал полковник.

— Отдохнуть не мешает, — кивнул генерал, — но пока государь в столице, я не имею права отлучаться.

— Да, это верно. — Полковник выразил вздохом всю глубину понимания тяжелого, но почетного долга. — Все лежит на вас.

Генерал никак не откликнулся на эти слова. Скорее всего, он привык к такому выражению лести. А может быть, он и сам давно верил тому, что от его распорядительности и воли зависит спокойствие в августейшей семье и во всем русском государстве.

Генерал замурлыкал мотивчик.

Все было хорошо, все шло как надо. Да, за этот год он устал, работенки было много. Зато — благосклонность государя! А это главное. Это самое главное. . .

Голубая веселенькая пролетка попалась ему на глаза.

В пролетке сидел молодой человек и помахивал тросточкой.

Наверняка, шельмец, ожидает красотку, чтобы увезти ее куда-нибудь на острова... Эх, молодость, молодость! Впрочем, и он в свои пятьдесят четыре еще хоть куда. Как говорится, лицом в грязь не ударит...

Словно подслушав его мысли, полковник предложил:

— Николай Владимирович, не желаете ли вечером в театр? Развеемся, отдохнуть и вообще...

— А есть что-нибудь любопытное? — спросил Мезенцев.

— Узнаем.

— Но не драму, голубчик, не драму.

— Понимаю.

Что понимал полковник? Может быть, то, что настроению начальника и его положению, так сказать, холостого человека (семья жила в Финляндии на даче) больше соответствовала оперетка? Или то, что драматургия и вообще литература могли неприятно воскресить в генерале мысли о явных и неявных смутьянах, которые, несмотря на все запреты, умудряются оскорблять верноподданные чувства?

Но генерал и полковник, если бы даже и захотели, не смогли уточнить свое отношение к театру.

Дорогу им загородил человек. Он был невысок ростом, с короткой, кудрявой бородой. Его большой, упрямый лоб вплотную надвинулся на генерала.

«Пьяный или нахал, — подумал Мезенцев, сохраняя спокойствие, но мгновенно озлобляясь. — Слишком много развелось в столице всякого сброда. Надо его научить почитительности».

Полковник выступил вперед, но Сергей отстранил его левой рукой.

Он смотрел прямо во взбешенное лицо Мезенцева.

Слова, которые были приготовлены заранее, прозвучали отрывисто и резко:

— Именем русской революции вы приговорены!

Сергей выхватил кинжал и, взмахнув им над головой, сверху вниз ударил в грудь Мезенцева.

Полковника он сразу перестал опасаться. Толкая осевшее тело в его руки, он уже не думал, что полковник сможет помешать. Все остальное было теперь простым и легким, не требовало никаких усилий.

Он машинально отмечал, как шарахнулись прохожие, как держал, не отпуская, грузное тело Мезенцева полковник, как на груди Мезенцева поблескивали в солнце ордена и аксельбанты.

Рядом возникла голубая пролетка, и Баранников, держась за поручень, протягивал ему руку.

Сергей вскочил на ступеньку, не выпуская крепко сжатого кинжала. Баранников обнял Сергея за плечи и увлек на сиденье. Михайлов щелкнул Варвара хлыстом, и тот помчал пролетку прочь.

* * *

Жандармы, жужжа, окружали тело и сдерживали наседавшую толпу. Они были похожи на голубых жуков, хлопчущих вокруг неподвижной голубой личинки.

Соня, поддавшись внезапной легкости, протиснулась вперед. Ей не пришло в голову, что жандармы могут схватить всех, кто оказался рядом. Но и жандармы были явно растеряны и не знали, что им делать.

Тело Мезенцева в расстегнутом мундире было прислонено к стене. Рядом с ним на корточках сидел полковник и сутились младшие чины.

«Откуда их столько понабежало? — подумала Соня. — В одну минуту. Неужели у них где-то здесь пост, а мы это проморгали? Или это случайно? Хорошо еще, что нет конных».

Но как раз в этот момент загрелись подковы, и толпа шарахнулась в сторону.

Полковник выпрямился.

— Быстрее! — закричал он офицеру на лошади. — Туда! — Он показал в ту сторону, куда скрылась пролётка.

Офицер хлестнул лошадь, но тут неожиданно бойко вмешалась какая-то старушка:

— А напрасно, милые, напрасно. Зачем плутать? Все одно не догоните. А злодеи покружат, покружат да на Невский и выедут. Куда же им деваться? Вы их там и караульте.

Соня обмерла. Неужели послушают? Ведь именно так и поедет пролетка. Этот маршрут специально обсуждали. Он был прост и правилен. Так и решили, что жандармы поскачут скорее всего сначала к Садовой и Литейному, а затем к Александро-Невской лавре, на окраину и за город.

Жандармам и в голову не придет, что нападавшие свернут на Невский, смешаются с вереницей экипажей и преспокойно покатают на Васильевский. Ах, какая мерзкая старушонка! Ну кто ее мог предвидеть?

Офицер придержал лошадь, но полковник заорал еще громче:

— Вы кого будете слушать? Какой, к черту, Невский!

Пеший жандарм надвинулся на старуху, а та попятилась в толпу.

Соня поспешила к Невскому.

* * *

Со вчерашнего дня Александра с новой силой преследовало страшное видение.

Он шел, а затем, подобрав полы шинели, бежал к карете, а кто-то с дерзкой улыбкой стрелял в него из револьвера.

Ужасно было то, что он, царь, бежал. Бежал с позорным чувством страха, которое возникало где-то внутри живота и волной окатывало все существо. Бежал, смертельно боясь, что пуля вопьется в спину, в бок или в голову.

А тот, стоявший у решетки, хищно целился, и его пистолет изрыгал пламя и дым.

Александр никому не признался, какой ужас пережил он в те несколько секунд. Но наверняка его приближенные затаили в себе эту унижительную для царя картину.

Самое кошмарное было то, что стрелявший ничего не боялся. Он стоял у решетки сада, и никто к нему не посмел приблизиться, пока он не расстрелял всех своих патронов.

С тех пор Александр не любил гулять в Летнем саду. Его чугунная решетка вызывала в царе приливы злобы.

Негодяя казнили, но от него все равно никак было не отвязаться. Его образ преследовал Александра все эти годы.

Однако до вчерашнего дня все покрывала успокаивающая дымка. Вчера и она испарилась без следа. Значит, двенадцать лет ничего не принесли. Опять из-за дерева, из-за статуи мог выскочить призрак и с отвратительной улыбкой выстрелить из пистолета.

Царь с высоты второго этажа смотрел в парк и думал о том, что надо отложить поездку в Ораниенбаум. Китай-

ский дворец, приготовленный к приему семьи, теперь был абсолютно непригоден для этой цели. Там окна на уровне земли, и не требуется большой фантазии, чтобы стрелять прямо из сада.

При одной мысли, что, сидя за обеденным столом, можно вдруг увидеть в окне чужое лицо, Александр содрогнулся.

Он дернул шнур — в комнате приглушенно звякнул колокольчик. На пороге вырос флигель-адъютант.

— Мы не поедem в Ораниенбаум. — Слова растворились в тишине зала. — Распорядитесь. Преступников поймали? — спросил Александр, предвидя ответ и заранее раздражаясь.

— Никак нет, ваше величество, — ответил флигель-адъютант, — есть телеграммы сочувствия: от его величества короля Пруссии, от его величества короля Швеции...

Флигель-адъютант держал в руке бумаги, готовый в любую секунду протянуть их Александру. Но Александр сделал нетерпеливый жест:

— Положите на стол в кабинете.

— Слушаюсь, ваше величество.

— Передайте в жандармское управление, что я ими доволен. Вторые сутки преступники на свободе!

— Слушаюсь, ваше величество.

Флигель-адъютант с поклоном исчез за дверью.

* * *

В это время в жандармском управлении изучали два перехваченных на почте письма.

В одном из них кто-то, явно издеваясь, сообщал:

«Вас всех, конечно, интересует узнать что-нибудь из частных источников о злодейском убийстве благородного шефа жандармов... В первое время все точно оцепенело, просто не верили, до такой степени факт был неожиданный. Поразило не столько само преступление, сколько его отчаянная дерзость, заставлявшая предполагать либо невероятную смелость, либо страшную силу организации злодейской шайки. Конечно, в публике были склонны видеть скорее последнее. Ничего не предполагавшее общество вдруг почувствовало, что у него под ногами какая-то страшная подземная сила, стремящаяся все перевернуть. Впечатление

было сходно с тем, какое было бы, если бы город узнал в одно прекрасное утро, что под него подведена подземная мина.

Паника в административных сферах, говорят, сильная.

Говорят, когда доложили государю, он побледнел, задрожал и выронил из рук бумагу, которую читал. Ужасно, ужасно! Куда мы идем!

...Слух о назначении 50 тысяч за голову преступника оправдывается... Слышно, что идет подписка между знатью, чтобы увеличить приз».

«Не худо бы, — подумал жандармский полковник, который в роковую минуту был рядом с Мезенцевым. — Не худо бы потрясти наших аристократов. Должны понимать, чем такие дела пахнут».

Полковник нервничал. Убийцы как в воду канули. Нашли только их таратайку и лошадь, брошенные на Васильевском.

Рядом с письмами лежало донесение одного агента:

«Для разыскания покушавшихся на жизнь шефа злоумышленников, полиция легко может проверить от прислуги лиц, имеющих собственных лошадей, не закладывали ли они 4 августа, рано утром, вороной хорошей лошади в линейку темно-синего цвета, и не был ли экипаж отпущен без кучера, так как личность, управляющая лошадью, как говорят, не похожа на простолюдина. Приметы ее: брюнет, с небольшими усами, лицо чистое, волосы курчавые».

«Идиот, — подумал полковник, — не разглядел как следует даже цвета. Бричка была голубая, а не темно-синяя. Бричка! А не линейка. И сидел в ней не один, а двое. Эти негодяи не такие дурачки. Они крупно шли. На черта им нужна больше лошадь?»

Снова и снова полковник переживал случившееся.

Он теперь клял себя за то, что дал преступнику так просто уйти. Почему он не схватил этого молодца, когда тот бесцеремонно отстранил его со своего пути? Почему не бросился на него, когда увидел сверкнувшую в воздухе сталь? Почему не стрелял, когда тот повернулся к нему спиной?

Оцепенел от неожиданности, наглости? Да, оцепенел. Это полковник помнил хорошо. Но так же хорошо он помнил, что оцепенел не только от этого.

Когда преступник заколол шефа и выдернул свой клинок, у полковника мелькнуло, что следующий удар будет

ему, и в эти секунды он был не в состоянии выхватить свой револьвер.

Повторись все снова, он знал бы, как себя вести. А сейчас надо ловить этих негодяев! И опять он словно связан по рукам и ногам. Где их искать? Кто они такие? Ничего не известно. Разве только два этих странных письма.

Очень подозрительные письма. К разным адресатам, но написаны одной рукой. Второе явно законспирировано:

«Все мы живы и здоровы, голубушка моя родная, — писал кто-то неразборчивым почерком, — и все обстоит у нас благополучно. Капитан недавно заболел, был на охоте, ранил двух волков, но сам простудился и захворал. В О. вообще свирепствует тиф и почти все болеют, но это не грозит нам здесь, потому что климатические условия очень различны, там, говорят, не привыкли беречь своего здоровья, и жизнь вообще очень небрежная, правила гигиены совсем не соблюдаются. Насчет же исхода болезни, надо думать, что он будет совсем не так губелен для больных, как это предрешили доктора, — этому уже есть приметы, — оказывается, что доктора гораздо трусливее своих пациентов».

Ясно, что речь здесь шла о каких-то тайных действиях революционеров. Но шифрованный язык был пока полковнику непонятен. Кто такой капитан? Их главарь? А волки? Если здесь намек на убийство шефа, то почему волки только ранены?

«Тут еще придется помозговать. Но ничего... Молодец шеф. Это он так поставил работу на почте, что ни одно подозрительное письмо не проскакивает».

Но шефу-то теперь все равно.

Полковника вдруг охватило беспокойство.

А не случится ли и с ним такое в одно прекрасное утро? Нет, этого не может быть. Они больше не решатся.

Полковник представил себе лицо с пронзительными глазами и непомерно выпуклым лбом.

«Нет, мы тебя все-таки поймаем, — злоратно подумал полковник, — с такой внешностью ты далеко не уйдешь, тебя любой дворник приметит».

* * *

А человек с выпуклым лбом, крупными губами и курчавой бородой сидел, склонившись над столом, и писал тем

же трудным почерком, который разбирал в двух письмах полковник.

«Убийство — вещь ужасная, — быстро ложились маленькие буквы на бумагу. — Только в минуту сильнейшего аффекта, доходящего до потери самосознания, человек, не будучи извергом и выродком, может лишить жизни себе подобного. Русское же правительство нас, социалистов, нас, посвятивших себя на великие страдания, чтобы избавить от них других, русское правительство довело до того, что мы решаемся на целый ряд убийств, возводим их в систему».

Он откинулся на спинку стула.

Так, выстрел Засулич и его удар кинжалом — только начало. Пусть знает об этом правительство, пусть знает об этом общество. Он объяснит мотивы убийства. Оно было неизбежно в обстановке покорности одних и издевательств других.

«Нам могут возразить: есть, мол, оппозиция, она медленно, но верно вершит благое дело. Она смягчает и облагораживает палача. Но, боже мой, сколько раз приходилось слышать об этом! От адвокатов, профессоров, инженеров. От всей этой разношерстной, либеральствующей публики. Надо и им тоже сказать несколько слов!»

Сергей обмакнул перо в чернильницу и написал:

«Что же ответило нам наше фрондирующее общество при вести о сотне замученных, о других сотнях осужденных на медленное замучивание, при рассказе об унижениях, об истязаниях, которым нас подвергают?»

Наши жалкие либералы умели только хныкать. При первом же слове об активном, открытом протесте они бледнели, трепетали и позорно пятились назад».

Мало кто из них, добравшись до тепленького местечка, отваживается на протест. Таких, как помещик Лизогуб, единицы.

Сергей вспомнил Димитрия Лизогуба, с которым впервые встретился на одной из студенческих сходов еще до отъезда к боснякам.

Он тогда сразу обратил внимание на худого человека, с детской улыбкой на бледных губах и длинной бородой апостола.

Человек тихо сидел в углу, с приятным выражением добрых глаз слушал споры студентов и сам иногда вставлял слово. Голос его звучал ровно и протяжно, выделяясь

в гамме звонких голосов и проникая в душу, как низкие, грустные ноты народной песни.

На улицу, в двадцатиградусный мороз, он вышел в легком пальто, старом шарфе и кожаной фуражке.

Сергей был поражен, узнав, что этот бедно одетый человек — владелец богатейшего имения в Черниговской губернии. Все свое состояние он отдавал на революцию.

Но главное, может быть, состояло даже не в этом. Многие революционеры жертвовали своим имуществом. Лизогуб вел жизнь подвижника. За ним по доносу родственников следила полиция, и он вынужден был бездействовать, чтобы не конфисковали его состояние.

Это приносило ему тяжелые муки, потому что родился он с отважным сердцем бойца.

Кто знал о нем? Немногие друзья. Его нравственный подвиг оставался пока скрытым от людских глаз. В русской прессе о таких, как он, писать не полагалось. Печать славит проходимцев и подлецов. Или в лучшем случае молчит.

Печать...

«При ней, на ее глазах совершались все эти зверства над нами. — Перо нервно прыгало по бумаге, Сергею было трудно справиться со своим волнением. — Она их слышала, видела, даже описывала. Она понимала всю их гнусность, потому что перед ее глазами была вся Европа, государственному устройству которой она сочувствовала.

И что же? Хоть бы слово, хоть бы единое слово сказала она в нашу защиту, в защиту священных прав человека, которые поругивались в нашем лице! Но она молчала».

Сергей остановился, потом продолжал:

«Что ей справедливость, честь, человеческое достоинство! Ей нужны только пяточки с розничной продажи. Убеждение, право мыслить, неприкосновенность личности — все меркнет для нее перед блеском пяточка. Из-за него она будет лизать руку, еще вчера побившую ее по щекам, будет кланяться, унижаться! Рабы, рабы! Есть ли в мире такой кнут, который заставит, наконец, выпрямиться вашу рабски изогнутую спину? Есть ли такая пощечина, от которой вы поднимете, наконец, голову?»

Он дописал последние слова, перечитал написанное, поправил некоторые выражения и размашисто вывел заголовок: «Смерть за смерть».

Вечером за текстом должны были прийти и снести его в типографию.

Сергей встал и подошел к окну, осторожно отодвинул штору.

Делать это ему было запрещено, но он не мог удержаться. Работа над брошюрой об убийстве шефа жандармов захватила его, отвлекла. Он снова чувствовал себя бойцом. Но, поставив точку, опять ощутил давящую глухоту стен и зашторенных окон.

* * *

В один такой тоскливо-длинный день раздался условленный стук, и в квартиру впрорхнула оживленная, розовощекая Соня.

Сергей страшно ей обрадовался. Они не виделись бог знает сколько. Он сразу пожаловался на свое заточение. Но Соня ему даже не посочувствовала, набросилась как на маленького.

— Вы разве не понимаете, что творится в городе? Столько шпионов! Их, правда, за версту видно. Пригнали из других городов полицейских и переодели. Умора. У них такой дурацкий вид.

— Вот видите, — решил поймать ее Сергей, — вам самой смешно.

— Но вам я не советую сейчас показываться.

— Но ведь помираю, Сонечка, поймите.

— И понимать не хочу. Вы что же думаете, мы так просто отдадим вас в их лапы?

— Но не сидеть же мне здесь вечно?

— Потерпите. Мы готовим вам переход через границу.

— Не поеду я за границу, — насупился он.

— Надо, Сергей, не упрячьтесь.

— Почему надо? — вспыхнул Сергей. — Теперь-то я и начинаю жить. Столько дел впереди. Я теперь — как река в полном разливе. Ей-богу, не смейтесь. А вы меня хотите отправить куда-то к черту на кулички. Да я уж лучше здесь буду сидеть, в этой конуре.

— Еще несколько дней — и в этой квартире станет тоже небезопасно, — трезво заметила Соня. — Вы же это прекрасно понимаете.

— Это я, положим, понимаю. Но зачем меня гнать за границу, этого — убейте! — не понимаю.

— Ну, честное слово, — тряхнула своей белокурой головкой Соня, — вас надо уговаривать, как малое дитя. Правительство решило арестовать вас во что бы то ни стало. Нам передали насчет этого самые точные сведения. Значит, вам в ближайшее время активная работа все равно закрыта. Ваша безопасность — не только ваше дело. Это престиж всей партии.

— Что же, я больше не властен над самим собой?

— Стало быть, — подтвердила она. — В этом вопросе я полностью согласна с остальными.

— А в чем вы не согласны? — подхватил он, думая, что можно еще найти лазейку.

— Не согласна я с вами, — сказала Соня, — вы уверены, что такие убийства к чему-нибудь приведут?

— Во всяком случае, хуже не будет.

— Как знать, — покачала головой она.

— Значит, вы тоже не одобряете?

— Мне трудно одобрить, — не отводя от него глаз, ответила она, — это все же убийство...

— Казнь.

— Все равно. Я понимаю. Но мне кажется, если мы станем на этот путь, придется его пройти до конца.

— То есть?

— Надо будет метить в голову.

— Вы имеете в виду царя?

— Да.

Они замолчали.

Сергей подумал о том, что, может быть, до этого и не дойдет. Вряд ли такой акт революционеров сейчас желателен. В народе живет еще вера в царя. Его убийство не станет популярным. Революционеры многих оттолкнут от себя. Шеф жандармов для миллионов — пустое место! С чиновниками и помещиками народ сам время от времени расправляется жестоко. Другое дело — царь-батюшка... Еще странствуя по деревням, Сергей наткнулся на этот патриархальный предрассудок.

— Ну, ладно, — отогнал свои мысли Сергей, — вы-то как живете? Давно приехали?

— Вчера, и представьте, удрала из-под носа у жандармов.

— Как так? — опешил Сергей. — За вами разве следят?

— Да нет. Просто меня арестовали.

— Что вы выдумываете, Соня.

— Но я правду говорю.

— Как же так? — Сергей не мог представить Соню арестованной. — Что с вами произошло?

— Ну, слушайте, — Сергей видел, что воспоминание доставляет ей большое удовольствие. — Я поехала из Киева к маме в Крым.

— В ваше имение?

— Ну да.

— Но это же безрассудство!

— И это говорите мне вы?

— Хорошо, хорошо. Я молчу. Что же там произошло?

— Произошло именно то, о чем вы думаете. Меня сразу сцапали.

Сергей с укоризной смотрел на Соню.

Он, конечно, ее понимал. Понимал, что желание повида-ться с матерью и доставить ей — в первую очередь ей — неожиданную радость было сильнее всякой осторожности. И потом — Соня верила в свою звезду.

— Но как же вы бежали?

— Очень просто. — В ее голубых глазах прыгали веселые чертики. — Жандармы отправили меня в Петербург. Ну, а в Чудове на вокзале два моих стража удобно заснули. Один лег на лавке, а другой — возле дверей. Дверь открывалась наружу. Я это сразу заметила. Ночью мне осталось только перешагнуть через спящего жандарма.

Сергей представил себе, сколько потребовалось выдержки, чтобы поймать этот единственный момент. Чудово — последняя станция перед Петербургом. Последний шанс. А от самого Крыма его, значит, не было.

— Не испытывайте больше судьбу.

— Постараюсь, — улыбнулась она. — Вы все же мне не нравитесь, Сергей.

— Почему?

— Хмурый какой-то.

— Будешь хмурый.

— Нельзя так! Нельзя закаменеть на одном.

Она, кажется, догадывалась, что с ним происходит.

— Не могу, — признался он, — мне трудно сейчас думать о другом.

— А вам как раз надо совершенно отвлечься.

— На что же я отвлекусь?

— На что? Я бы на вашем месте просто влюбилась. Это было так же неожиданно, как многое, что делала и говорила она.

— Нет, — протянул он, — кажется, это исключено.

— Все вы так! — В ее глазах он читал едва ли не осуждение.

— Кто это — мы? — попытался улыбнуться Сергей.

— Халтурин, например, Лизогуб. — Она вдруг посмотрела на Сергея лукаво. — А я знаю одну замечательную девушку, вы с ней, между прочим, хотели встретиться.

В памяти Сергея возникло милое лицо, но сердце его в этот раз не дрогнуло.

— Я старик, Соня, — сказал он печально. — Без рисовки. Я сердцем вдруг постарел. После того, что я пережил, нужно что-то феноменальное, чтобы я мог почувствовать любовь.

— Вы думаете, что никогда не сможете полюбить? Что все женщины пройдут мимо вас, как бесплотные тени?

— Не знаю... Женщина, наверно, сможет внушить мне только страсть, может быть, облагороженную дружбой. Но это ведь совсем не любовь.

— Это не любовь, — как эхо, откликнулась Соня.

— Я не ханжа. Я не считаю предсудительными встречи с женщиной, которую сам глубоко не любишь. Но подумайте, вдруг это окажется женщина с глубокой душой? Я ведь разобью ей жизнь.

Милое лицо той, встреченной им на сходке, вновь тревожно ожило в памяти.

— Почему? — спросила Соня, удивившись болезненному выражению его лица.

— Потому что за все сокровища души, которые она мне даст, сама получит крохи.

— Но, может быть, такая женщина разбудит и в вас настоящее чувство?

— Едва ли. Я ведь говорю вам, что сердцем я стар. Ну, да что толковать об этом. От всего этого я теперь свободен.

— Мне очень жалко, — вздохнула Соня, и если бы ей можно было говорить при Сергее вслух, то она произнесла бы знакомое ему и дорогое ей имя своей подруги.

— Одно есть счастье в мире, — сказал он, — и одно

несчастье. Это — мир со своей совестью и отсутствие мира с совестью. Все остальное вздор и пустяки. Все можно перенести не поморщившись, не сморгнувши глазом. Все, кроме этого.

— Нет, Сергей, — возразила Соня, — вы просто замкнули на одном. Но счастье не только в том, о чем вы сказали. Мир с совестью — это много. Но жить только с этим тоже нельзя. Есть и другое. Я уверена, что вы переменитесь, и мы с вами еще вспомним этот разговор.

— Может быть, — рассеянно откликнулся он, вновь вернувшись в мыслях к тому, что товарищи решили отправить его за границу, и решая ни в коем случае не подчиняться.

* * *

Напрасно Сергея убеждали, что это не только его личное дело, что арест больно отзовется на всех. Любая случайность могла стать роковой. Сергей не желал этого понимать. Ему казалось, что друзья преувеличивают опасность. Через месяц он открыто ходил по Петербургу. Он не хотел сидеть взаперти.

В газете «Земля и воля» появлялись его страстные, как поэзия, статьи. Газету печатали тайно, а распространяли едва ли не в открытую. Полиция не могла обнаружить типографию и была бессильна против людей, которые ее читали и рассылали.

Все это возбуждало, пьянило, как весенний ветер, развеявший вдруг морозный застой.

«Мы должны помнить, — писал он в передовой первого номера газеты, объясняя причины и задачи вооруженного сопротивления, — что не этим путем мы добьемся освобождения народных масс. С борьбой против основ существующего порядка терроризация не имеет ничего общего. Против класса может восстать только класс; разрушить систему может только сам народ. Поэтому главная масса наших сил должна работать в среде народа. Террористы — это не более как охранительный отряд, назначение которого — оберегать этих работников от предательских ударов врагов. Обратив все наши силы на борьбу с правительственной властью — значило бы оставить свою прямую, постоянную цель, чтобы погнаться за случайной, временной».

Клеменц был очень доволен, что Сергей написал это. Зато Халтурин не согласился:

— Пришло время одной политической борьбы. Вы сами дали пример. Это не только охрана. Правительство сдрейфит. Они нас боятся. Вы же военный человек, знаете, лучшая оборона — нападать.

— Какой я военный! Но могу заметить — чем мы вооружены? Револьверами, кинжалами? Слишком мало для наступления.

— О том я и хотел говорить, — обрадовался Халтурин, — надо послать за границу человека делать динамит.

— Динамит — это химия, — сказал Сергей, догадываясь, куда клонит Халтурин. — Химики есть и в России.

— Химики есть, — не сморгнул Халтурин, — но условий нет. Где испытывать, чтобы никто не услышал?

— А просто покупать динамит за границей?

— Дорого и хлопотно с перевозкой.

— Что же вы решили?

— Послать вас.

— Почему меня? — взорвался Сергей. — Разве нет других? Я нужен газете.

— Все это понимают, Сергей. Но, кроме вас, поехать некому. Вы артиллерист. Кому же еще заниматься этим?

— Надо подумать.

— Поездка-то всего недели на три.

— Не больше?

— Это зависит от вас.

— Когда ехать?

— Послезавтра.

У Халтурина гора свалилась с плеч. Он все же боялся, что и ему, как Перовской и Клеменцу, не удастся убедить Сергея. Но, значит, они, наконец, придумали верно. От дела Кравчинский никогда не убегал. Главное, отправить его сейчас из России. Хотя бы на время.

Халтуруину было жаль расставаться. Сергей всегда относился к нему как к равному. Даже в ту раннюю пору ничем не подчеркивал своего превосходства над человеком из рабочей среды. А ведь другие интеллигенты — что греха таить? — нет-нет да и давали почувствовать свой уровень или вообще что-нибудь такое, трудноуловимое для необразованного человека. Пусть даже невольно.

Кравчинский был для него больше свой, чем другие землепользители, и ему охотнее, чем другим, рассказывал Степан, как идут его дела у рабочих.

— Не хочется мне ехать! — Столько тоски было в голосе Сергея, что Халтуруину стало жаль его.

— Не горюйте, — постарался весело сказать он, — мы скоро встретимся. Желаю вам удачи.

— Вам — тоже, — Сергей стиснул мозолистую ладонь Степана. — До встречи.

* * *

Проводов не устраивали. Сергей уехал незаметно. Да и не было надобности особо отмечать отъезд. Но Соня почему-то была грустной, словно расставались навеки. Никогда Сергей не думал, что она может загрустить оттого только, что товарищ уезжает ненадолго за рубеж.

Путешествие до границы и переход через нее были, как всегда, простыми. Вечером Сергей прибыл в польскую деревушку, а уже утром садился в поезд на вокзале пограничного немецкого городка.

Через два дня он был в Швейцарии.

На перроне его встречала Вера.

Разговор с ней обеспокоил Сергея. Она, словно сговорившись с теми, кто остался в России, убеждала не спешить с возвращением и едва ли не запугивала опасностями, которые подстерегали его на родине.

— Это не так страшно, — отмахнулся он, — вот вам бы я не советовал показываться в Петербурге.

— Почему?

— Вас многие видели на процессе.

— Но в Петербурге живет около миллиона.

— А вы ведь не умеете скрываться.

— Вот как? — удивилась Вера.

— Вас всегда еще издали узнаешь и услышишь.

Вера оценила прямолинейность Сергея. Она, в общем, знала, что плохо следит за собой, когда чем-нибудь увлечена или раздосадована. Тут она и впрямь порой забывалась — говорила слишком громко и размахивала руками. Спасибо Сергею, никто из друзей не корит ее за это, а жаль.

В нем она еще в первую встречу подметила это прямолинейное, которое так редко встретишь у взрослых. Но Сергей умел даже неприятные вещи высказать так, что обижаться



на него было нельзя; правда, о недостатках друзей он высказывался неохотно. Предпочитал говорить о достоинствах.

— А вас по вашей шевелюре тоже за версту увидишь, — решила отплатить ему Вера.

— Дело поправимое, — поддержал шутку Сергей, — да к тому же полиция пока не представляет себе, как я выгляжу.

— В том-то и дело, что пока. Что вы намерены делать, когда вернетесь в Россию?

— Я с Клеменцем редактирую газету, — сказал он.

— Клеменц скоро приедет сюда.

— Вот как?

— Он ведь не согласен с тактикой террора.

— Это я знаю. Но мне тогда тем более надо скорее обратно.

— Пропагандировать террор?

— Не уверен. — Сергей помолчал, он первый раз высказывал вслух свои сомнения. — А вы? Взяли бы снова револьвер?

— За эти несколько месяцев многое переменилось. — Она говорила волнуясь, все громче и, по обыкновению, не замечала этого. — Я не боюсь слов, но мы с вами взломали лед. Сейчас все должно пойти по-другому. Револьвер, может быть, пока и необходим. Но скоро понадобится другое оружие.

— Какое?

— Поживите в Европе, познакомьтесь с рабочим движением.

— Но их борьба не закон для нас!

— Почему? — рубанула рукой Вера. — Кто это доказал? Лавров, Бакунин?

Нет, сослаться на них Сергей не мог. Он всегда жил своим умом. Его многому научили и Лавров и Бакунин, но он не стал их приверженцем.

Вопрос Веры был прост и тревожен. Но Сергей отогнал его от себя. Этот вопрос заставлял вникать в то, что происходило на Западе, а Сергей рвался в Россию.

* * *

Он уходил с динамитом в горы. Гремел взрыв, потом наступала тишина. Особая, горная, она заполняла все выси, впадины и ложбины, как некое невидимое, но, несомненно, хрустальное тело. Его не хотелось раскалывать новым взрывом, и Сергей подолгу сидел, глядя на горы, на далекий город внизу и озеро, сияющее резкой полосой аквамарина.

Крохотный вопросик начинал предательски теребить мозг: зачем враждует человек с человеком, когда кругом так ясно и так много места для всех?

В самом деле, неужто есть где-то другой мир — со злобой, издевательством? Неужели тишина нарушается окриками, угрозами? Хотелось наивно верить в то, что повсюду разлиты тишина и благодать.

Но он сам крошил эту благодать, взрывая динамитные шашки.

Он-то хорошо знал, как обманчива ласковая тишина гор. Не надо было закрывать глаза, чтобы представить себе изнурительную погоню и снова слышать выстрелы карабинов.

В Швейцарии оазис. Здесь всегда оазис. А в других местах люди враждуют, и горный воздух сотрясают взрывы. Но напрасно ли? Если бы он думал, что напрасно, то не тащился бы сюда в горы каждый день со своим опасным грузом.

* * *

Целый месяц он был спокоен. Все шло, как надо. Задание «Земли и воли» он выполнил в срок.

Можно было возвращаться. Он ждал вызова из Петербурга. Шифрованное письмо пришло через месяц, но известия в нем оказались убийственные. Лучше бы оно не приходило: обстановка в столице ухудшилась, жандармы арестовали несколько человек. Сергея просили подождать.

Но шли недели, а письма из России становились тревожней. Террористы совершили несколько покушений, но и жандармы не дремали. Сергею прямо написали, что возвращаться в такой момент — значит погибнуть: его ищут.

Его уже не просили, ему просто не высылали ни документов, ни адресов, ни денег.

«Я же думаю поехать в Россию. Нужно, нужно быть там, — писал он в отчаянии друзьям, — ...я имею возможность устроиться в Питере самостоятельно, никого не обременяя, ни друзей, ни товарищей. Как — скажу при свидании. Все дело теперь в деньгах: нужно по крайней мере 300 fr. на экипировку и дорогу. Откуда достать их, еще не знаю. Но что я их достану, в этом для меня нет никаких сомнений».

* * *

— Деньги ты достанешь, — поддержал Клеменц, — ты можешь писать в любую газету — хоть здесь, в Швейцарии, хоть во Франции. Мы тебе это устроим.

— Вы мне уже устроили, — попытался улыбнуться Сергей, — теперь я понимаю, вы меня просто выпроводили за границу.

— Пусть так, — не пытался спорить с ним Клеменц, — но ты нам нужен на свободе, а не в тюрьме.

— Для чего? Для того, чтобы я здесь на стену лез от бессилия и злости?

— А что здесь делаем все мы?

— Не знаю.

— А ты поинтересуйся. Может быть, и для тебя хорошее дело найдется. В газеты, кстати, писать можно не только ради денег.

— А ради чего еще писать в эти паршивые газеты?

— Ради того, чтобы рассказать Западу о России.

— Очень это надо и Западу и России!

— Представь себе, что надо. Здесь, в Европе, чего только не болтают о нас. Мы-де и злодеи, и нехристи, и кровопийцы.

— Я-то тут при чем?

— Помнишь наш старый разговор в Твери, когда мы в деревню уходили? По-моему, для тебя сейчас опять настало такое время — надо браться за перо.

— Что же я буду теперь писать? Воспоминания террориста на покое?

— Не горячись, Сергей. Подумай. А твои воспоминания, между прочим, могли бы стать как раз той литературой, которая нужна.

— Тебе легко говорить.

— Мне — конечно, — улыбнулся как-то робко Клеменц. — Если бы я умел то, что умеешь ты, мне бы действительно было легче. Так что не будем об этом. Я думаю, рано или поздно ты согласишься со мной.

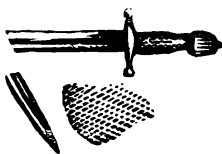
* * *

Сергей не хуже Клеменца понимал силу печатного слова и чувствовал, что сумел бы написать о своих друзьях.

«Кажется, это неизбежно, — думал он, — русские революционеры часто становились писателями в тюрьме, в эмиграции или в ссылке. Есть досуг и нет ничего, кроме пера и бумаги».

Во дворе маленького домика на окраине Женевы, где Сергей жил, произошло вскоре незначительное событие. Сергей не верил в приметы, но оно заставило его вспомнить слова Клеменца.

Стоял февраль. Дули холодные ветры. Сергей щепал кинжалом лучину для железной печурки, которая грела его комнату. Однажды четырехгранное лезвие застряло в узловатом полене, Сергей потянул кинжал к себе, и клинок сломался. Сергей сжал рукоять старого кинжала, подаренного ему когда-то Винченцо, и с сожалением подумал о том, что когда-нибудь это должно было случиться.



Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я

ПОДПОЛЬНАЯ РОССИЯ





Статс-секретарю федерального совета разговор был неприятен. Опять эти русские втягивали его в свои распри. Что же придумать? Выдать эмигранта царю? А репутация республики, мнение Европы? Отказать? Но царь злопамятен...

— Кажется, это было политическое убийство? — затягивал он разговор.

— Так мы оправдаем любое преступление, — сдерживал раздражение его собеседник.

Его раздражал либеральный тон швейцарского министра.

Какая ирония: они оба статс-секретари! Но он — князь, приближенный императора, а этот — наверняка плебей, выскочка, назначивший встречу в вонючем кафе, куда всякая сволочь имеет право войти. Но ничего не поделаешь, ради службы надо претерпеть. Швейцария не Франция, а тем более не Россия.

— Вы уверены, что он здесь? — спросил один статс-секретарь.

— Мое правительство не стало бы входить иначе в контакты, — высокомерно ответил другой.

— Потребуется доказательство, — с сомнением покачал головой швейцарец.

— Как только мы договоримся, я телеграфирую в Петербург, — сказал русский, — документы пришлют.

— А что это за документы, можно полюбопытствовать?

«Торгаш, — выругался про себя князь, — ему недостаточно царской воли».

— Протокол сенатской комиссии. Показания другого преступника, который помогал в злодеянии.

— Тот сознался?

— Заставили, — коротко ответил князь, не желавший вдаваться в подробности.

— А что угрожает этому?

— Решит суд.

— Гильотина?

— Слава богу, в России нет гильотины, — нахмурился князь, не любивший этого слова, которое родилось в якобинской Франции.

— Что же есть в России? — не удержался швейцарский министр.

— Мы отвлекаемся, — не пожелал заметить его усмешки посол.

— Да, да, — поспешил согласиться статс-секретарь. — Так вы говорите, он в Женеве?

— Он здесь уже несколько месяцев.

— Что же он делает у нас в Швейцарии?

— Не сомневаюсь — готовит новое злодеяние.

* * *

В трех кварталах от кафе, где торговались статс-секретари, действительно готовилось опасное для царя дело. Человек, казнивший Мезенцева, упорно работал.

Как докладывал агент, так происходило ежедневно.

Агента, впрочем, это устраивало. Он был женевец, получал за слежку деньги и до вечера мог не волновать-

ся за своего поднадзорного: тот, не разгибая спины, сидел и писал.

Можно было совершенно спокойно пойти домой, в соседний ресторанчик или заняться кое-какими другими делюшками: русский никуда не отлучался, никто его в это время не навещал. С ним была только жена. Да жена ведь, как известно, не в счет.

Бедны они, как церковные крысы, это вот верно. Пальто он свое заложил на прошлой неделе, жить, значит, вовсе не на что. А много ли за такое пальто дали? Господа, господа... Сам-то и по-французски, и по-немецки, и еще там по-разному, а вот прокормиться и то по-человечески не может. На жену его смотреть жалко. Приехала сюда веселая такая, крепенькая... А сейчас? Побледнела, как актерка из театра. Хотя веселости не поубавилось.

Это, пожалуй, смущало агента больше всего. Дома стены голые, есть нечего, а им обоим хоть бы что!

Месяца три назад агент не пожалел франков для квартирной хозяйки. Надо было выяснить, чем он там каждый день занят и не сбежит ли, если оставить одного.

Комната была, как водится у люмпенов, под крышей, с косым потолком; летом тут жара, зимой никакой печкой не протопишь. Мебели — две кровати, стол и два стула. На стене два платья (третье на ней). А у него, оказалось, ничего, никакой смены, даже башмаков лишних. Зато книг и бумаг полна конура — и на столе, и на кроватях, и на полу.

Вот, стало быть, чем он занимался. Журналист, писатель. Эти, как хорошо знал агент, самые опасные. Недаром чиновники русского посольства не скупились на слежку.

Он подошел к столу, поглядел в бумаги.

Исписана изрядная стопка, чистый лист придавлен камнем и страница проставлена — триста десять.

Что же он такое пишет? Не разберешь. А это что за книга? Агент прочитал заглавие, и ему стало ясно: русский просто-напросто переводил на свой язык роман итальянца Джованьоли под названием «Спартак».

В книге на раскрытой странице была отметка карандашом. Агент прикинул: русскому осталось переводить больше половины; и в этот момент испытал к нему нечто вроде теплого чувства.

Значит, он и впредь будет корпеть над переводом и никуда со своего чердака не денется. Он хоть и революционер, а жить и ему надо. Жена его вчера из лавочки ни с чем вернулась — мяса в долг им больше не дали. И булочнику они задолжали, и даже за свечи. Вот какие дела, господа хорошие. Долго ли протянете? Интересно, на что он надеется? На перевод? А много ли за перевод платят?

* * *

Удары церковных курантов были, как всегда, тяжелы и вески. Они проникли в комнату сквозь мутное окно, отмеривая половину дневной работы.

— Я заснула, — виновато сказала Фанни, открыв глаза: она лежала, завернувшись в плед, подобрав колени к подбородку. — Мне даже сон приснился. Как будто гладиаторы напали на римлян. Они рубили друг друга мечами по щитам. Знаешь, с таким страшным звоном!

— Это церковь, — улыбнулся Сергей, откладывая перо и с удовольствием потягиваясь.

— Ты замерз?

— Нет, — солгал он, а сам тщетно старался не думать о том, как хорошо, когда горячий кофе, обжигая губы, согревает надолго грудь, а иззябшие ноги сладко оживают в валенках.

— Дай руки, — потребовала Фанни, — ну вот, я же знаю, что ты обманываешь.

— Вовсе я не обманываю, — Сергей не спешил освободиться, — просто рукам всегда холоднее, они ведь держат перо.

— Это одна рука. А другая? Она тоже, как ледышка.

— За компанию.

— Они у тебя всегда такие теплые...

— Они и сейчас теплые.

— Пока у меня. Я их не отпущу.

— А кто будет работать?

— Да, — вздохнула Фанни, — я мало тебе помогаю.

— Что ты выдумываешь? — упрекнул ее Сергей, мягко освобождая руки и вновь берясь за перо. — Чего я стою без тебя?

— Глупый. Меня не надо успокаивать, я в нашей любви не сомневаюсь. Но ведь ты сам говорил, что для муж-

чины любовь всего лишь один из островков на бурной реке общественной жизни.

— Так я говорил?

— Примерно так.

— Что-то я не помню, чтобы я тебе об этом говорил.

— Ты говорил не мне.

— Кому же?

— Одной моей подруге.

— Не помню.

— Тебе и не надо помнить. Ты ведь не из тех мужчин, которые способны жить одной любовью.

— Откуда ты так хорошо знаешь, на что я способен?

— Догадываюсь, — улыбнулась она.

— И ты думаешь, я без тебя смог бы жить?

— Жил ведь раньше.

— Так то раньше, — заключил он резонно. — Один в этой дыре я бы давно с тоски и холоду окошел.

Фанни понимала, что он шутит, но ей были приятны его слова. В них она чувствовала преданность и ласку. А ей сейчас больше ничего и не было нужно. После смерти ребенка она все еще не могла прийти в себя. Да, наверное, это было и невозможно.

Прошлая жизнь, с ее радостями, печалями, казалось, принадлежала не ей, а кому-то другому. Там, в невероятной отныне дали, существовали студенческие сходки, восторги на драматических спектаклях, преклонение перед горсткой смельчаков, ушедших в подполье, дружба с прекрасной девушкой Соней Перовской...

С тех пор минуло два года, и на переломе этих лет — та страшная неделя, когда заболел и умер их мальчик.

За эти два года Сергей и его друзья перестали ей казаться недостижимыми, легендарными существами. Она очутилась среди них и увидела, что они, как все люди, дружат, ссорятся, заботятся о хлебе насущном. Они жили на земле, а их врагами были обыкновенные, имеющие власть и оружие чиновники, полиция, жандармы. Но друзья мужа хлопотали не о себе и этим отличались от остального человечества. Они научили ее смотреть на самопожертвование, как на естественный поступок.

За границей не было опасности, как в России, но здесь им жилось еще тревожней, часто просто плохо. Особенно Сергею. Он рвался домой, но ехать ему запрещали. Меся-

цами он писал, склонившись над столом, и только она знала, чего стоили ему эти месяцы внешнего спокойствия и усидчивости. Хорошо еще, что работа была по душе. Но тут бы Сергей на компромисс не пошел и никогда бы не стал переводить какую-нибудь бульварщину.

Фанни устраивалась прямо на кровати, закутав ноги пледом, и аккуратно переписывала исчерканные, в милых каракулях странички. Она любила смотреть исподтишка на его красивую голову, любила наблюдать за выражением его лица. Она не побоялась бы сказать, что гордится своим мужем, и, наверное, была счастлива. «У вас все есть для полного счастья, — подсмеивался порой над ними их друг Николай Морозов, — даже дрова каждый день».

* * *

Привычный вид за окном помогал сосредоточиться. Сергей изучил его до мельчайших подробностей. Когда не вытанцовывалась какая-нибудь фраза, он перебирал подробности своего пейзажа одну за другой, словно повторял, не задумываясь, знакомый аккомпанемент, и этот аккомпанемент неизменно рождал ему необходимое слово или оборот. Переводить под такое «сопровождение» крыш, башен, окон, деревьев, шпилей было удивительно легко.

Сергей отказался переехать со своего чердака, когда Вера Засулич нашла им за ту же цену комнату получше, а главное — поближе к ресторанчику мадам Грессо.

Фанни тоже не согласилась.

С Фанни было хорошо. Она все понимала. Сергей раньше и не предполагал, что женщина сможет ему дать так много.

Из-за церковной стены показался фургон. «Ага, — обрадовался Сергей, — значит, сегодня будем со свежими дровами!»

Он водил дружбу с разными людьми — с дворниками, истопниками, трубочистами... Сторож особняка неподалеку от церкви сообщил ему по секрету, что хозяевам на днях привезут новую мебель, прямо из Франции, в деревянных ящиках, так что господин Обер (да, в ту зиму господин Шарль Обер) сможет унести и себе вязанку досок.

Морозик удивляется — Сергей почти каждый вечер с дровами! — а чему тут удивляться? Надо только ног не по-

жалеть да рук, да головой поработать. Ну и добрым соседом быть, тогда и люди тебе помогут.

Морозика, впрочем, нынче дровами не удивишь. У него сегодня на уме другое. Эмигрантские дразги больше его не тронут. Счастливцев!

* * *

Ресторанчик мадам Грессо маленький, но хлебосольный. Сколько раз за эти два года Сергей и Фанни спасались тут от голодухи! Да только ли они? Они даже гораздо реже других: Сергей хоть изредка получал гроши за свои переводы. Другие и того не имели; попадались ведь среди русских эмигрантов и такие, кто не знал ни одного иностранного языка, — если бы не мадам Грессо, им бы пришлось совсем худо: она кормила безденежных эмигрантов даром.

Русские между собой называли ее тетушка Грессо, так было теплей и проще. Она и в самом деле была для них доброй, родной тетушкой, которая так хорошо понимала, что тарелка горячего супа порой спасает человека от отчаяния, а может быть, и от смерти.

Ее любили. К вдове парижского коммунара Жаклин Грессо шли, как в клуб, и охотно доверяли разные эмигрантские тайны.

С Фанни она была по-матерински нежна. Тетушка Грессо, потерявшая на парижских баррикадах мужа, а потом похоронившая своего ребенка, лучше многих понимала состояние молодой женщины.

Она радушно им улыбнулась, поцеловала Фанни и открыла дверь за стойкой, — сегодня ее русские гости собирались там. Один из них уезжал домой, и она решила, что прощание лучше всего устроить без посторонних глаз.

В маленькой комнатке вокруг стола сидело несколько человек и среди них — Николай Морозов, Морозик, как называли его ласково друзья. Он и был именинником.

Глаза Морозика лучились, он весь лучился, Сергей заметил это сразу, как только вошел. Пожалуй, тетушка Грессо была права, запрятав всю компанию в отдельную комнату: Морозик мог выдать себя и недогадливому шпику. Сидит ну прямо женихом, и костюм на нем уже новый, — это он, пожалуй, зря. Зачем раньше времени наряжаться? Приедет к русской границе, тогда пожалуйста. А то ведь, не дай бог, кто-нибудь приметит: ходил все в

рыжем сюртучке, а тут вдруг переоделся — зачем? Вопрос резонный.

«Я, кажется, стал чересчур осторожным. Может быть, за Морозиком никто и не следит. Мне теперь всюду мерещатся шпионы. Не за всеми же русскими они как на веревочке ходят?»

Последний месяц Сергей постоянно чувствовал за собой слежку. Вот и сегодня его согляда тай в кожаном кепи тащился от самого дома. «Где он, бедненький, будет торчать, пока мы с Морозиком не наговоримся? К тетушке Грессо он не сунется, это ясно. Ну, да аллах с ним».

Стол был уставлен богаче, чем всегда, даже графин с вином; это, ясно, хозяйка постаралась.

Сергей с любовью смотрел на Морозика — он ему всегда нравился: честный, открытый, прямой. И молодой. Боже, до чего молодой! Его светлая бородка, как ни странно, молодит его еще больше. Совсем мальчишка!

А ведь именно его вызывали сейчас в Россию. Там опять что-то затевают. Царя преследуют, как зайца. Один взрыв за другим... Морозик лишь на вид такой нежный. Характер у него — стальной.

«У Морозика есть что-то общее с Соней, — подумал Сергей. — Херувимы революции. Хотя почему херувимы? Глупости какие-то лезут в голову. Не херувимы и не демоны! Просто — революционеры, которые идут на все, чтобы сбросить тирана. Я знаю, у Николая Морозова не дрогнет рука, если надо будет даже бросать бомбу. Но он, как все мы, не родился террористом. Он чуткий и поэтичный человек, нежный муж и отец».

И опять Сергея охватила теплая волна любви к этому юноше, который оживленно разговаривал с друзьями.

Подумать только! Ему чуть больше двадцати лет, а он уже успел зарекомендовать себя в Петербургском университете умным исследователем. Ему бы работать и работать.

Что же это за режим, который заставляет таких людей бросать самое заветное и уходить в подпольную борьбу? Нет, пока мы живы, мы будем его смертельными врагами!

— А где Оля? — услышал Сергей вопрос Фанни; она спрашивала о жене Морозика.

— Уложит дочку и придет, — ответил Морозик, — ты же знаешь, как она засыпает.

— Грустно им будет без тебя, — сказала Фанни, и Сергей почувствовал в ее словах что-то сугубо свое, не имеющее отношения к жене и дочке Морозика.

— Они меня проводят до Берна, — неожиданно сказал Морозик.

— Вот это совсем напрасно, — вмешался Сергей, — ты подумай, легко ли им это будет? Да еще зимой.

— Так хочет Оля, — коротко сказал Морозик, и Сергей понял, что говорить на эту тему бесполезно.

* * *

Они уехали наутро, а через несколько дней Морозова на границе схватили.

Оля прислала отчаянное письмо. Она просила Фанни приехать и остаться с девочкой, чтобы самой перейти границу и, пока полиция не отправила Николая в Петербург, попытаться спасти его.

Фанни тотчас же собралась.

Сергей, как в лихорадке, ждал сообщений.

— Только бы они не распознали его сразу, — нервно говорила Вера.

— Что сделает она одна на границе? — сердито возражал Сергей.

— Вы не знаете Ольги. У нее легкая рука.

— Все равно, ей надо помочь.

— Я уже написала в Вильну.

— Мне надо ехать туда!

— Ни в коем случае! — испугалась Вера. — Да мы вас и не пустим.

— Вы все меня оберегаете, точно я бог знает какое сокровище, — возмутился Сергей, — я бездельничаю третий год. А теперь, когда моя помощь нужна срочно...

— Помощь окажут, — тоже горячилась Вера. — И почему вы думаете, что вы бездельничаете? Вот если вас тоже арестуют, тогда... Ах, что я говорю! Нам всем дорог Николай, не меньше, чем вам. Я уверена, что его успеют освободить до перевода в Петербург.

У Сергея такой уверенности не было.

Шли дни. Оттуда, с далекого, страшного севера поступали неутешительные вести: жандармы раскрыли имя Николая, его повезли в столицу, Ольга последовала за ним.

«Теперь все, — думал Сергей, — его посадят в Петропавловку, а оттуда еще никого вызволить не удалось. Если и не раскроют всего, то все равно за одну принадлежность к партии террористов осудят на всю жизнь... Неужели мы и впредь каждый год будем расплачиваться такими людьми? Как много зависит от глупой случайности! Неужели этого нельзя избежать?»

Но Морозика все равно не вернешь...

Сергей представлял себе состояние Оли в Петербурге, и собственное бессилие приводило его в ярость. Он послал умоляющее письмо в Петербург и едва не поссорился с Верой, когда она — в который уже раз! — заявила, что ехать преждевременно.

* * *

Нет, не преждевременно! Ехать надо было немедленно, тотчас. И, как подтверждение его правоты, в столице грянули новые, последние, решающие взрывы — царь был убит!

Через несколько дней Сергей получил письмо, в котором от имени всех оставшихся на свободе членов партии «Народная воля» его звали в Петербург, обещая вскоре выслать документы и деньги.

«Фаничка, милая! Еду! — писал Сергей жене сумасшедшими, прыгающими буквами. — Я еду, еду туда, где бой, где жертвы, может быть, смерть! Боже, если бы ты знала, как я рад — нет, не рад, а счастлив, счастлив, как не думал, что доведется мне еще быть! Довольно прозябания! Жизнь, полная трудов, быть может, подвигов и жертв, снова открывается передо мной, как лучезарная заря на сером ночном небе, когда я уже снова начинал слабеть в вере и думал, что еще, может быть, долгие месяцы мне придется томиться и изнывать в этом убийственном бездействии между переводами и субботними собраниями...

Чувствую такую свежесть, бодрость, точно вернулись мои двадцать лет. Загорается жажда давно уснувшая — подвигов, жертв, мучений даже — да! Все, все за один глоток свежего воздуха, за один луч того дивного света, которым окружены их головы...

А помнишь, как раз я говорил тебе, что в моей жизни было два лучезарных периода, но что так как их должно

быть три, то один еще будет. Я это предчувствовал, хотя иногда, по малодушию, слабел в вере. Теперь это исполнилось!»

Он перечитал написанное, ни на мгновение не сомневаясь, что Фанни с таким же чувством ликования будет читать его рвущиеся вперед огромными скачками буквы.

Для него наступил светлый праздник. Лишь одно нарушало полную радость. Сергей не мог умолчать об этом — Фанни была самым чутким и совестливым судьей его.

Опять буквы, тесня друг друга, заскакали по бумаге, но уже не так стремительно, тяжелее:

«Признаюсь, однако, что моя радость не без облачков. Мне грустно, что я так мало могу оправдать надежды, которые возлагают на меня мои друзья. Проклятая работа из-за куска хлеба не дала мне никакой возможности запастись новыми знаниями. В этом отношении я еду таким же, каким уехал. Но зато эта же каторжная работа дала мне много выдержки и упорства в труде, которых тоже у меня не было.

Но все-таки грустно! Как бы я хотел обладать теперь всеми сокровищами ума и знания и таланта, чтобы все это отдать беззаветно, без всякой награды для себя лично — им, моим великим друзьям, знакомым и незнакомым, которые составляют с нашим великим делом одно нераздельное и единосущное целое!

Что же! Отдам, что есть».

* * *

Фанни оставалась с дочкой Морозика, а Сергей торопился закончить переводы, чтобы к тому времени, когда из Петербурга пришлют деньги и документы, быть свободным от всех своих обязательств здесь, за границей.

Шли дни. Островок Руссо по-прежнему задорно зеленел. Над голубым озером вздымались зеленые горы. Впервые после приезда в Женеву Сергей радостно воспринимал Швейцарию. Оказывается, она была совсем не самовлюбленной, а гордой, независимой и чуть-чуть холодной.

Зубцы гор, покрытые снегом, торчали предостерегающе. Сергей вдруг заметил, что ничего бутафорского в них нет. Они были по-настоящему грозными, эти вершины, и манили к себе свежестью и опасностью.

С каким бы наслаждением он пошел сейчас туда, с друзьями или даже один — все равно! Но чтобы шагать по горной тропе весь день и всю ночь — в голубом, мерцающем свете, чтобы мышцы ног болели от усталости, а голова оставалась ясной; а утром оттуда, с белых вершин, взглянуть на окрестные горы, на озеро, на город. Город и озеро станут маленькими, игрушечными, и трудно будет поверить, что совсем недавно ты сам ходил и хлопотал на его улицах, что он для тебя что-то значил.

Так произойдет совсем скоро. Этот чистенький город отодвинется далеко-далеко. Превратится в крохотную точку на карте. А ты уйдешь туда, за снежные зубцы.

Сергей знал, что там его ждет Россия, и он спешил к ней, потому что Россию ждал весь мир.

* * *

Напрасно он все же послушался Степана и поехал за границу. Столько времени ушло впустую!

У Степана и у Сони жизнь в России совсем другая.

Каждый их час отдан настоящей борьбе. А он, начиная с тех августовских дней 1878 года, от всего отстранен. Знал бы, что так обернется, разве просиживал бы покорно перед отъездом из Петербурга в «карантине»? Были ведь дела уже тогда, вскоре после казни Мезенцева. А он и о них узнавал только по рассказам.

«Карантин» был, конечно, неизбежен. Сергей сам однажды вечером увидел на улицах толпы профессиональных сыщиков и наскоро переодетых в штатское солдат. Но ведь не заподозрили же они его, не схватили сразу за шиворот. Значит, мог он принять участие и в том деле, о котором рассказывал Степан, а не сидеть в глухой квартире с зашторенными окнами. После того как он поставил точку в брошюре «Смерть за смерть», делать там было абсолютно нечего. Он со скуки, смешно сказать, читал французские романы (у хозяина квартиры, адвоката, была их целая библиотека — от Поль де Кока до Золя).

Вот тогда-то один раз он все же вырвался на волю. Предлог был такой, что ни у Сони, ни у Степана не хватило духу возражать. Они лишь настояли на том, чтобы Сергей изменил внешность и вышел из дому не раньше сумерек.

Но раньше и не требовалось. Сергей шел на нелегальную «пирушку», чтобы встретиться там с Валерианом Осинским.

На квартиру к адвокату Валериан явиться не мог. Таковы были строгие законы «карантина». Туда к Сергею ходила лишь связная.

Никогда до этого Сергей не видел Валериана. Осинский работал на юге, главным образом в Киеве, и ни разу до сих пор им не пришлось быть в Петербурге одновременно.

Эти нелегальные, не очень уж частые встречи друзей за нехитрым угощением — чаще всего пиво с копченой рыбой («нигилисты» ведь народ простой и средства у них весьма скромны) — Сергей всегда очень любил. Они снимали напряжение постоянно тревожной жизни.

В тот раз праздник устроили из-за Осинского. Его все любили. Он был смел до безумия. А кроме того, обладал таким даром убеждать других, что после разговора с ним самые закоренелые скряги из либеральствующих бар развязывали свои кошельки и давали деньги «Земле и воле».

Он пришел со Степаном, стройный, голубоглазый. Его белокурая голова была слегка откинута назад, словно он поглядывал на всех свысока, гордо; но никакого высокомерия в нем, конечно, не было и в помине.

Они были чем-то неуловимо похожи друг на друга, Осинский и Халтурин. Может быть, тем, что оба были очень красивы? У обоих правильные черты лица, только один светлый, с голубыми глазами, другой темноволосый и темноглазый. Но нет, не это было главным. И тот и другой светились какой-то безудержной радостью и отвагой.

Это сразу бросилось в глаза, как только они вошли в комнату. Сергей хорошо знал Степана и мог поклясться, что с ним незадолго до прихода случилось что-то особенно хорошее.

Осинский, держа в одной руке фуражку чиновника межевого ведомства, крепко сжал другой руку Сергея.

Они долго стояли, молча глядя в глаза друг другу. Сергей сказал:

— Так вот вы какой, Валериан Осинский.

Тот рассмеялся:

— Готов поспорить: меньше ростом, чем вы ожидали. А я именно таким вас себе и представлял.

У Сергея было такое чувство, будто он встретился с родным братом и даже то, что они в ту встречу называли друг друга на вы, нисколько этого ощущения не разрушало.

Симпатия была обоюдной, а желание встретиться и поговорить наедине так велико, что для Осинского сделали исключение, и он на другой же день увиделся с Сергеем на его тайной квартире.

А в тот раз беседа сразу стала общей: Осинский и Халтурин только что вернулись с кладбища, где неожиданно возникла схватка между рабочими и полицией...

За несколько дней до этого из-за небрежности администрации патронного завода в одном цеху произошел взрыв. Было убито шесть рабочих и ранено пятнадцать. На фабриках и заводах столицы заволновались. «Земля и воля» решила устроить манифестацию. С Халтуриным на похороны пришло около тысячи человек. Полиция, не мешая, плелась за процессией до самого кладбища. Там вспыхнул митинг. Это было уже слишком. Пристав приказал полицейским схватить зачинщиков. Но рабочие прогнали полицейских палками и кулаками.

Когда Халтурин рассказывал об этом, глаза его горели. Еще бы — такого русская столица не знала! Полицию поколотили, как собак.

— Пристав драпал от нас целый квартал! — хохотал Валериан. — Я никогда не думал, что полицейские в чинах так быстро бегают.

Сергей завидовал тогда им обоим.

Сколько прошло с тех пор? Два с половиной года? Степан по-прежнему в Петербурге. Он тоже, как говорили приезжавшие из России, стал на путь террора. Неужели он, как и Соня, думает, что другой борьбы с правительством не существует?

А Валериана Осинского казнили весной позапрошлого года...

Его арестовали на улице Киева.

5 мая начался суд, а уже 14 мая Осинского не стало. Он и на казни не дрогнул. У него лишь мгновенно побелела голова, когда на его глазах повесили двух его товарищей, Антонова и Брантнера. Но он сам поднялся на эшафот и презрительно отстранил священника с распятием.

А ведь против Осинского не могли выставить никакого серьезного обвинения. Его приговорили к казни лишь за то,

что при аресте он коснулся рукой револьвера, даже не успев вытащить его из кобуры.

* * *

«Поток выбросил меня в сторону, — с горечью думал Сергей, — но разве я не противился, разве я виновен?» — «А кто виноват? — вмешался безжалостный голос. — У тебя здесь в Швейцарии райская жизнь. Ты лишь переводишь, чтобы прокормить себя и жену». — «Переводишь, — усмехнулся Сергей, — вот именно. Я перевожу бумагу. Разве сравнить эту работу даже со сказками? Они хотя и коряво были написаны, но прямо служили пропаганде. А это?»

Сергей почти с ненавистью посмотрел на исписанные листки. Был он неправ, но ничего с собой поделывать не мог. Роман Джованьоли о бесстрашном герое античности казался ему детской игрушкой. Не этого ждут от него те, кто каждый день рискует жизнью в России.

У них там нет ничего, кроме изнурительной, но прекрасной борьбы...

А любовь?

Еще два года назад он не мог понять Соню, когда она заговорила с ним об этом. А теперь он знал, что при встрече они поймут друг друга. Фанни не была революционеркой, но ведь неспроста она и Соня дружили...

Все началось осенним днем, когда Сергей открыл калитку и стал подниматься по лужайке к дому, в котором снимал чердак.

Дом стоял на косогоре, и лужайка перед домом круто уходила вверх. Он медленно шел, как и все предыдущие дни, думая о том, почему же так медлят с окончательным вызовом домой. А когда поднял голову — на скамейке у дома сидела Фанни.

Он остановился, вглядываясь в ее лицо, узнавая и не узнавая его. Оно было прежним, мучительно знакомым, но он поймал себя на мысли, что оно открывается ему впервые. Сергей смотрел на нее по-новому — внимательно, радостно, жадно. Он почти не удивился, встретив ее вдруг возле своей берлоги, на бедной окраине Женевы.

Она поймала его взгляд, вскочила и, легко сбежав по лужайке вниз, прижалась к его груди.

— Я приехала к тебе, — услышал он ее прерывающийся слезами голос, — я тебя теперь никогда не оставляю.

Слова тоже были именно те, которых Сергей ждал. Он ничего не ответил, только крепче обнял ее и поцеловал в склоненную, вздрагивающую голову.

* * *

Нет ничего изнурительнее, чем жажда действий и невозможность действовать. Каждый день был наполнен ожиданием, но кончался ничем. Несколько раз Сергея предупреждали, чтобы он готов был выехать, но выезд почему-то отменялся. Нервы были на пределе.

В конце марта из Петербурга сообщили об аресте участников покушения на царя.

Все в Женеве были подавлены. Лишь Яков Стефанович, бесшабашный человек, сорви-голова, не показывал виду, что удручен. Он говорил, что жертвы никого еще не устрашали. Как и Сергей, он изнывал в Швейцарии и сердился, что из России не шлют документов и денег.

Его все же позвали на исходе лета, но до этого вместе с Сергеем и другими эмигрантами он должен был пережить известие о казни тех, кто первого марта покарал царя.

Вслед за этим на руках у Сергея и Фанни скончалась дочка Морозика. Ее хоронили на женевском кладбище для бедных. У Сергея на похоронах было такое чувство, словно прощался и с первомартовцами.

Он не мог думать о Соне, как о мертвой. Это было так же противоестественно, как вообразить, будто солнце навсегда может померкнуть.

Вместе с Фанни он читал Сонино письмо из крепости. Оно было написано накануне приговора и адресовано матери, чтобы хоть как-то подготовить ее к ужасной вести.

«Дорогая моя, неоцененная мамуля! — писала Соня. — Меня все давит и мучает мысль, что с тобой. Дорогая моя, умоляю тебя, успокойся, не мучь себя из-за меня, побереги себя ради всех окружающих тебя и ради меня также. Я о своей участи нисколько не горюю, совершенно спокойно встречаю ее, так как давно знала и ожидала, что рано или поздно, а так будет. И право же, моя милая мамуля, она не такая мрачная. Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения; поступать же против них — я была не в состоянии; поэтому со спокойной совестью ожидаю все, предстоя-

щее мне. И единственно, что тяжелым гнетом лежит на мне, это твое горе, моя неоцененная; это одно меня терзает, и я не знаю, что бы я дала, чтобы облегчить его. Голубонька моя, мамочка, вспомни, что около тебя есть еще громадная семья, и малые и большие, для которых для всех ты нужна, как великая своей нравственной силой. Я всегда от души сожалела, что не могу дойти до той нравственной высоты, на которой ты стоишь; но во всякие минуты колебания твой образ меня всегда поддерживал. В своей глубокой привязанности к тебе я не стану уверять, так как ты знаешь, что с самого детства ты была всегда моею самой постоянной и высокой любовью. Беспокойство о тебе было для меня всегда самым большим горем. Я надеюсь, родная моя, что ты успокоишься, простишь хоть частью все то горе, что я тебе причиняю, и не станешь меня сильно бранить: твой упрек единственно для меня тягостный.

Мысленно крепко и крепко целую твои ручки и на коленях умоляю не сердиться на меня. Мой горячий привет всем родным. Вот и просьба к тебе есть, дорогая мамуля: купи мне воротничок и рукавчики с пуговками, потому запонок не позволяют носить, и воротничок поуже, а то нужно для суда хоть несколько поправить свой костюм: тут он очень расстроился. До свидания, моя дорогая, опять повторяю свою просьбу: не терзай и не мучай себя из-за меня; моя участь вовсе не такая плачевная, а тебе из-за меня горевать не стоит.

Твоя Соня.

22 марта 1881 г.»

* * *

Ее судили и казнили вместе с Андреем Желябовым. Это, возможно, было последним и единственным утешением в ее жизни. Человек, которого она любила, несколько дней был рядом с ней.

На суде Соня держалась гордо и бесстрашно. Она не боялась умереть.

Враги никогда не видели ее в растерянности или слезах. Да и друзьям она всегда казалась образцом хладнокровия. Немногие знали, чего стоило ей ее выдержка. Внешне она всегда сохраняла спокойствие и даже веселость при самых отчаянных ситуациях. Но Сергей видел, как рыдала

Соня, уткнувшись головой в подушку, когда поняла, что нет надежды освободить из тюрьмы осужденных по процессу «193-х».

Она нежно и трогательно любила своих друзей, и они ей отвечали тем же. Сергей встречался с молодежью из тех кружков Харькова, Петербурга и Симферополя, где работала Соня, и всюду о ней говорили с восторгом.

После ареста Желябова, который был организатором покушения на царя, Соня взяла все дело в свои руки. Революционеры-мужчины беспрекословно подчинились ей.

Сергей надеялся в России узнать о подробностях того, что произошло 1 марта. Сведения оттуда поступали пока скупо. Заграничные газеты перепечатали сообщение корреспондента из Кельна, который был допущен на казнь. Он вряд ли сочувствовал русским революционерам, но и его потрясла их нравственная сила.

«Кибальчич и Желябов очень спокойны, — писал в своей корреспонденции немец. — Тимофей Михайлов бледен, но тверд. Лицо Рысакова мертвенно бледно. Софья Перовская выказывает поразительную силу духа. Щеки ее сохраняют даже розовый цвет, а лицо ее, неизменно серьезное, без малейшего следа чего-нибудь напускного, полно истинного мужества и безграничного самоотвержения. Взгляд ее ясен и спокоен; в нем нет и тени рисовки...»

* * *

Вскоре пришло новое известие: от Стефановича. Он сообщал, что, несмотря на казни и аресты, организация продолжает жить. Правительство явно в растерянности. Коронацию нового царя откладывают с недели на неделю. Видимо, царь просто боится устраивать торжества.

Однако Сергей не слишком поддался оптимизму Дмитра (так в подполье звали Стефановича), тот всегда все преувеличивал.

Тем временем за перевод «Спартак» неожиданно прислали из России деньги. Да, там действительно были люди, которые не робели и рисковали помогать тем, кто открыто боролся с правительством.

Денег хватило, чтобы расплатиться с долгами и даже отложить на дорогу. Сергей решил не ждать денег и паспорта, которые должны были прислать друзья из России.

Они почему-то продолжали медлить — надо было действовать самому.

Итак, деньги теперь были, оставался паспорт. У Сергея быстро возник план: воспользоваться паспортом товарища.

Сергей отправился на другой конец Женевы, где жил его приятель Георгий Плеханов. Надо было внушить ему, что ждать бумаг из Петербурга больше никак нельзя.

Плеханова он не видел давно; тот почему-то не появлялся последнее время даже у тетушки Грессо. «Пишет, наверное», — думал Сергей. Плеханов работал едва ли не больше всех эмигрантов, буквально дни и ночи.

Черная лестница, по которой он поднимался к Плеханову, была бесконечна и крута.

Сергей передохнул и постучал в знакомую дверь.

— Войдите, — ответили ему по-французски.

Он узнал голос Георгия, и уже в этот, первый момент, как только услышал его из-за двери, удивился его слабости. Обычно Георгий отвечал гораздо громче.

Сергей толкнул дверь и увидел, что Георгий не сидит, как всегда, за столом, а лежит на кушетке.

— Вы больны? — с тревогой спросил он.

— Пустяки, — махнул рукой Георгий.

Он весь был обложен книгами, даже на полу возле кушетки валялись книги.

Сергей потрогал его лоб:

— У вас жар, надо послать за доктором.

— Пошлите, — саркастически улыбнулся Георгий, — если вы такой богач.

— Протопить надо, — не обращая внимания на его усмешку, заявил Сергей.

— И послать за обедом в отель Палас.

— Шутите, шутите, — проворчал с неудовольствием Сергей, — вы лучше посмотрите на себя в зеркало.

— Смотрел, — что-то уж очень живо откликнулся Георгий, — похож на издыхающего д'Артаньяна. Вы это хотели сказать?

— Как вам не стыдно, — корил его Сергей, — почему вы никого не известили, что больны?

— А зачем? — сердито возразил Георгий. — И без меня у всех своих забот хватает.

— Когда вы ели? — сурово спросил Сергей.

— Ел... вчера.
— Я скажу хозяйке...
— Не надо, — быстро остановил его Георгий, — это бесполезно.
— Понятно. Сколько вы ей задолжали?
— Кошмарная сумма, — попытался улыбнуться Георгий.
— А все же?
— Шестьдесят пять франков.
— Ну, столько-то мы найдем, — веселее сказал Сергей, — и на доктора еще хватит. Не смейте возражать. Я старше вас, — почти прикрикнул он на Георгия, почему-то пустив в ход аргумент, который сам всегда считал дурацким.

* * *

Для Сергея и Фанни не могло быть двух мнений: все свои деньги они отдали Плеханову. То есть Георгий сам бы ни за что не взял, просто Сергей сделал так, чтобы он не знал никаких забот, хотя бы на время болезни.

Нужда в паспорте поэтому ненадолго отпала.

А из Петербурга по-прежнему не было никаких вестей.

— Вы знаете, — сказала ему однажды Вера Засулич, — что во все пограничные города посланы ваши приметы?

— Не знаю, — нахмурился Сергей. — Это верно?

— Сведения прямо из третьего отделения.

А через день его поманила в комнату за стенкой тетушка Грессо.

— Я вас всегда любила, — начала она, взяв его за руку и заглядывая в глаза, — и вас, и вашу милую супругу. Я хочу, чтобы вы оба жили долго-долго и всегда были счастливы.

— В чем дело? — Сергею не понравилось это вступление.

— Я живу в Женеве девять лет и многих знаю. Вы не удивляйтесь. В правительстве тоже бывают неплохие люди. Мне сказали... Вам лучше уехать.

— Почему?

— Один мой знакомый случайно видел документ у президента кантона... Вас хотят арестовать.

В это Сергей мог поверить без труда. Последний месяц слежка за ним стала назойливей (кроме типа в кожаном кепи, появились и другие).

— За Фаничку вы не беспокойтесь, — тетушка Гресо помаргивала белесыми, как солома, ресницами, — ее не тронут. Вы, наверное, им здорово насолили, господин Обер?

— Да нет, меньше, чем мог бы. Гораздо меньше.

* * *

— Я тебя одного не отпущу, — сказала Фанни.

— Но вдвоем нам нельзя, — грустно возразил Сергей, — ты же сама понимаешь.

— Я понимаю. Но что же мне делать? Я не могу без тебя.

В ее глазах дрожали слезы.

— Надо, Фаничка, ничего не поделаешь. И денег нет...

«Этого я мог бы и не говорить», — подумал Сергей. Он медленно и нежно целовал ее лицо и между поцелуями тихо говорил, словно заговаривал боль:

— Мы ведь ненадолго расстаемся... И ты будешь с Верой... Она хорошая, чуткая... Я поживу немного там, осмотрюсь... А потом приедешь ты... Летом или весной... Сейчас всюду дожди, холодно... У тебя теплого почти ничего нет...

— Но ты же поедешь на юг!

— Так что же с того? Ехать надо через горы. А там знаешь, что сейчас?

— Ничего я не знаю, — она ткнулась головой ему в плечо, — я знаю только, что без тебя мне плохо.

— И мне. Поэтому мы с тобой встретимся. Очень скоро. Слышишь?

— Слышу, — совсем шепотом, в его плечо ответила она.

* * *

Кондуктор дилижанса оглядел фигуру человека, хмуро изучающего тарифную доску, и понял, что сегодня это не пассажир. Может быть, и завтра не пассажир. Если, конечно, у него есть франки на билет. А если нет, то он и вообще не пассажир. Уйдет, откуда пришел, или

останется в Бриге: надо же будет бедняге хоть что-нибудь заработать.

Только вот трудненько это нынче сделать. Ох, трудненько. Народ по эту сторону перевала прижимист. Зря франки на ветер не бросает.

Иностранец какой-нибудь. Немец, а может быть, венгр. Не поймешь. Одежка потрепанная. Несладко им приходится. Много же их снует — туда-обратно, из Швейцарии в Италию, из Италии в Швейцарию! Хорошей жизни ищут. Дома, видать, не сладко. Думают, перескочил на ту сторону, и там тебе, пожалуйста, солнце с апельсинами. Нет, братец, там тоже крутиться надо. Всюду крутятся.

Кондуктор полез на свое место. Щелкнул бич кучера. Дилижанс покатился по дороге.

Сергей долго смотрел ему вслед.

Что же делать? Не хотелось выбрасывать восемнадцать франков. Да за багаж возьмут еще три. Каждый тюк считают, крохоборы. А ему этих франков должно хватить на три недели. В Милане еще неизвестно, как все обернется.

Сергею без особого труда удалось обмануть швейцарских шпионов, оторваться от «хвоста» и доехать из Женевы до Брига. Но на дорогу ушла уйма денег. Если он и дальше так будет путешествовать, то в Милан прибудет без гроша. Попробовать пешком? По русским масштабам — расстояние плевое. Перевалил через горы, а там до Милана верст сорок, выражаясь опять-таки по-русски.

В конце концов, почему бы и не потопать собственными ногами? Ходил же он когда-то по русским дорогам и не одну сотню верст ходил! Пилу носил за спиной, два топора, мешок с барахлишком. Его нынешний саквояж не тяжелее. А вся контрабанда — в голове, как писал когда-то Генрих Гейне.

Надо только расспросить кого-нибудь из местных на всякий случай.

Старик швейцарец, который рыбачил с удочкой на берегу Роны, подумав, сказал:

— Если человеку очень надо, он идет. Я ходил через Симплон осенью два раза. Но я ходил не один. Дождись попутчика. Зачем рисковать?

— Я не могу ждать попутчика.

Старик взглянул на Сергея и закивал головой.

— Я ни о чем не спрашиваю. Когда человек не может ждать, он не ждет. Но будь осторожен: бывают обвалы. А дорога пойдет все вверх, вверх, а потом все вниз, вниз. Если будет буря, иди в хижину. Иди, иди и увидишь хижину. Рядом с дорогой. Их там четыре. Или пять. Не помню. Я давно ходил. Увидишь. Рядом с дорогой. Бревенчатая хижина, чтобы спрятаться от бури. Там спички и дрова.

— Спасибо.

— Если меня спросят, я ничего не видел и ни с кем не говорил? — опять оторвался от своей удочки старик и посмотрел на Сергея.

— Пожалуй, — сказал Сергей. — Счастливой рыбалки.

— Какая уж теперь рыбалка, — проворчал старик, — раньше была рыбалка. Счастливого пути.

Было раннее утро, до вечера предстояло одолеть Симплонский перевал.

* * *

Дорога то прижималась к отвесной скале, то вползала в долину и вилась среди камней и пожухлой травы. Впереди, не приближаясь и не удаляясь, сияли белые цепи гор. Они уходили в сторону, вниз, а на их место медленно выплывали другие.

Каждый шаг был легкий, он нес в будущее, но с каждым шагом Сергея настигало прошлое. От него он не мог уйти. Да, собственно, уходить было и незачем. Оно не обременяло памяти, не терзало совесть.

С тех пор как Сергей оставил стены училища, не выпадало, пожалуй, ему таких часов полной тишины, когда можно было без помех оглядеть прошлые годы, и Сергей заново переживал давние и недавние встречи.

Посыпался снег. Вершина перевала исчезла. А ведь снизу, из Брига, она казалась совсем близкой.

Потом снегопад перестал. Опять заголубело небо. Огромная, почти гладкая поляна очистилась перед глазами. На ней сверкали белые холмики. Сергей в первый момент не сообразил, что это — величайшие вершины Альп. Значит, он наконец-то достиг рубежа и стоял на самом перевале.



За спиной остался долгий путь. Впереди лежала Италия. Сергей лишь на минуту задержался и снова быстро зашагал вперед. Усталости он не чувствовал.

* * *

Хозяин дрянной комнатенки заломил невероятную цену.

— Побойтесь мадонны, — испугался Сергей, — откуда я возьму вам такие деньги?

— Это меня не касается, — невозмутимо ответил итальянец. — Я же не спрашиваю, кто вы такой и зачем приехали в Милан.

— Я пришел, а не приехал.

— Тем более, — сказал хозяин, выразительно оглядывая одежду Сергея: стоптанные башмаки, потертые брюки, старую рубаху.

Сергей вскоре понял смысл этих слов и взгляда: в городе открывали промышленную выставку, съехалось множество народа и ясно, что в толчее грели руки всякие проходимцы. Хозяин, не иначе, принял его за пришлого вора. Но уж и за то спасибо, что не выпрашивает, откуда он взялся. Бросил задаток в ящик конторки, записал коряво имя нового постояльца в книгу и выдал ему ключ от комнаты.



Опять под Сергеем было море черепичных крыш. Слово и не уезжал никуда из Женева. В огромном городе, среди сотен тысяч людей, в толкотне и хаосе улиц он мог не опасаться преследования. Здесь до него никому не было дела. А он для себя дело сыскал сразу, ни дня не дал на передышку, и даже ажурной красотой Миланского собора любовался на ходу, как когда-то в Петербурге — Казанским собором.

«Я ужасно, ужасно много работаю... — сообщил он Фанни. — Встаю в 8 и к 9 уже в библиотеке, где и сижу безвыходно до четырех, пока не начинают гнать. Потом вечером привожу в порядок свои замечания и пишу статью уже об итальянских поэтах, они, как оказывается, несравненно интереснее романистов и уж абсолютно никому не известны».

Он имел в виду русскую публику, для которой и писал эту статью.

Итальянцы своих поэтов знали хорошо.

* * *

Библиотекарь склонился к его уху:

— Вам будет интересно: за тем столом читает газеты сеньор Фонтана.

Да, Сергею было даже больше, чем интересно: его

увлекли стихи современной Италии, а Фонтана среди молодых поэтов был самым ярким.

По виду Фонтане было лет тридцать. «Он, наверное, мой ровесник, — подумал Сергей. — Лицо у него приятное, но он очень устал или чем-то огорчен, или болен». Сергею захотелось подойти к этому озабоченному, худому, как щепка, человеку и ободрить его. Он понимал, что сочувствие незнакомца может вызвать у поэта раздражение, но все же встал и пошел вслед за ним, когда Фонтана вернул газеты библиотекаря.

Поэт не удивился, увидев рядом с собой Сергея, лишь в его больших черных глазах промелькнула тревога. Слова сочувствия сразу стали неуместны.

Вблизи Фонтана сделался другим — болезненности, усталости как не бывало. Сухо и резко он смотрел на Сергея.

— Я готовлю статью об итальянской поэзии, — сказал Сергей, — мне очень важно поговорить с вами.

— О Данте, о Петрарке? — перебил его с нервной усмешкой Фонтана. — Простите, я не специалист. Вам лучше обратиться к Кардуччи. Он и поэт и ученый.

— Вы хотите сказать, архивная крыса?

— Нет, сеньор, я не хочу этого сказать, — с неприязнью и любопытством оглядел Фонтана Сергей. — Никто из друзей Джозуэ Кардуччи не произнесет о нем таких слов.

— Надеюсь, вы не сомневаетесь в дружбе Кардуччи и профессора Губернатиса?

— Так что же?

— Это его слова.

— Вы уверены?

— Мы можем вернуться, я вам покажу статью. Но, уверяю вас, в этих словах нет ничего дурного. Русский поэт Пушкин был гениальным поэтом, но не чурался архивной работы. Он написал серьезный труд о восстании Пугачева.

— Вы и русской литературой занимаетесь?

— Нет, — Сергей чувствовал, что Фонтана настроен скептически, но решил не отступать; чем больше Сергей смотрел в лицо итальянца, тем больше оно ему нравилось своей страстностью и прямоотой. — Меня сейчас занимает поэзия Италии, и ваши стихи тоже.

— Весьма польщен, — насмешливо поклонился Фонтана, — если не ошибаюсь, вы не миланец.

— Нет.

— Откуда же вы?

Сергей секунду колебался — он решил никому в Милане не говорить о том, что он русский. Но с этим человеком хитрить было нельзя, да и ни к чему. Это Сергей тоже понял.

— Я из России.

— Может быть, вы и статью свою пишете для русских? — все еще с сомнением спросил Фонтана.

— Да, для русских.

— А нужна ли сейчас русским поэзия Италии? — вдруг ожесточился Фонтана.

— Думаю, что нужна, — ответил Сергей. — Иначе я бы не взялся за это дело. Кроме того, ничем другим я не могу сейчас заняться.

— Это почему же? — быстро взглянул на него Фонтана.

— В двух словах не объяснишь.

— У меня есть время, — с вызовом сказал поэт.

— Но вначале мы будем говорить о поэзии. Это по справедливости. Мне действительно важно знать ваше мнение о том, что я написал.

— Хорошо, — согласился Фонтана, — но я не знаю вашего имени.

— Никола Феттер.

— А как будет подписана ваша статья?

— Еще не знаю.

— Вы давно в Италии? — Голос Фонтаны прозвучал мягче. — Вернее, я хотел спросить: когда вы уехали из России?

— Больше двух лет тому назад.

— Значит, вы ничего не сможете рассказать о том, что там происходило в марте? — с сожалением сказал Фонтана.

— Думаю, что смогу, — печально возразил Сергей.

* * *

Фонтане понравился этот русский, которого преследовали жандармы и который обладал редкостным чутьем к поэзии. «Вам надо бы занять кафедру в Болонье», — шутил

Фонтана. Сергей также привязался к поэту, который бывал то нежен, то желчен и нетерпим.

Таким он был и в стихах.

В своей статье, заканчивая рассказ о бедной юности поэта, Сергей написал: «Он вышел победителем из тяжелых испытаний и остался передовым бойцом человеческой мысли. Но старые, даже зажившие раны болят и ноют. Отсюда та надтреснутая нота скорби, скептицизма, усталости, которая прорывается у Фонтаны среди торжествующей песни жизни... Невозможно представить себе музы более своеправной и капризной, но вместе с тем и более симпатичной. «Я родился добрым, — говорит о себе в одном месте поэт, — и всюду, куда лишь могла достичь моя рука, всегда вытирал я слезу; даже у детей просил я прощения, если, ослепленный гневом, я наносил им обиду».

— Я должен был бы вас благодарить, — сказал Фонтана, — никто никогда так обо мне не писал. Мне, наверное, приятно, что обо мне прочитают в России. Не знаю... Но я говорю не для комплимента. О сухости моих «гражданских» стихов вы тоже верно сказали. Я о другом, — Фонтана смотрел тоскующими глазами. — Бойцом я не родился. Но я понимаю тех людей, о которых вы говорили. Они мерещатся мне, как призраки, — Фонтана стиснул руку Сергея широкой, костистой ладонью. — Это единственное, во что надо верить! Понимаете? У нас был Гарибальди. В России все по-другому. Я бы написал о них, но я итальянец. Написать должны вы!

— О ком написать? — машинально спросил Сергей, поддаваясь настроению Фонтаны.

— О Софье Перовской, о Морозове, о Халтурине, об Осинском. Я правильно говорю имена? Обо всех.

— В России их имена под запретом, — сказал Сергей. — Для кого я буду писать?

— Для Италии! — почти крикнул Фонтана. — Италия поймет этих людей. Вы должны мне поверить.

— Я вам верю. Но кто же станет печатать?

— Это я беру на себя! — порывисто уверил Фонтана. — Хотя что нам откладывать? Мы сейчас пойдем и договоримся. Вы увидите... Это надо было сделать раньше, но я виноват. Где ваша шляпа?

— Шляпа вот, — улыбнулся Сергей, — но куда вы хотите вести?

— В редакцию «Жало».

— Тогда одной шляпы маловато, — продолжал улыбаться Сергей, — у меня же, вы видите, для посещения редакций нет приличной рубашки.

— Пустяки. Хотя постойте... Действительно. Они там из-за этой ерунды смогут вас надуть.

— То есть как? — не понял Сергей.

— Очень просто. «Жало» газета хорошая. Печататься в ней не стыдно, совсем не стыдно; и редактор хороший. Вы сами убедитесь. Но газетчик есть газетчик. Если он увидит, что вы нуждаетесь, надует вас, заплатит мало.

— Да мне все равно.

— Э, нет, так не пойдет. Я вас в обиду не дам. Пойдемте ко мне, у меня есть лишняя сорочка. Как-никак я известный поэт. «Для него прошло время отчаянной борьбы с нищетою!» — дурачась, закончил Фонтана и захохотал вместе с Сергеем.

Последние слова были прямехонько из его статьи.

* * *

Он сразу же написал Фанни: «...Я получил работу в одной газете — *Pungolo*¹, платящей, безусловно ...мне гарантирована полная независимость... Условия такие: статей 10—16 в 200 строк каждая с платой по 25 франков за штуку. Впрочем, окончательные условия определятся, только когда я представлю две пробные корреспонденции — первая историческая и вторая биографическая... Я сказал, что сделаю две-три корреспонденции исторические, а потом, в остальных, — в виде биографий, рассказав о достопримечательных бегствах и т. п., постараюсь дать характеристику движения в лицах и образах... А знаешь, чью характеристику я сделаю первой? Догадайся — Дмитровскую».

Работа захватила его; Дмитро (Стефанович) был сложным и не до конца ясным Сергею характером. Открытку Фанни Сергей в этот день так и не успел послать, а на завтра, переполненный новыми впечатлениями, взял красные чернила и стал писать поперек вчерашних строчек (на новую открытку денег не было): «...первую пробную корреспонденцию кончил почти. Завтра кончу вторую... Сде-

¹ Жало (итал.).

лаю, конечно, так, что ни само описание, ни даже то, что я с него начинаю, не будет в состоянии иметь для кого-нибудь какого бы то ни было значения, если бы даже ее Третье отделение прочло... Пишу с величайшим удовольствием, как еще никогда ничего не писал».

Это была необычная работа. То, что она выволакивала из безденежья, не имело почти никакого значения. Она воскрешала недавнюю борьбу, давала возможность пережить прошедшее.

«Точно какой-то могучий клич, исходивший неизвестно откуда, пронесся по стране, призывая всех, в ком была живая душа, на великое дело спасения родины и человечества».

Сергей писал быстро, почти без помарок, лишь задумываясь иногда над тем или иным оборотом речи, писал-то он по-итальянски. Писал без всякого напряжения, потому что слова, ложившиеся на бумагу, оказывается, давно созрели в нем:

«И все, в ком была живая душа, отзывались и шли на этот клич, исполненные тоски и негодования на свою прошлую жизнь, и, оставляя родной кров, богатства, почести, семью, отдавались движению с тем восторженным энтузиазмом, с той горячей верой, которая не знает препятствий, не меряет жертв и для которой страдания и гибель являются самым жгучим, непреодолимым стимулом к деятельности».

* * *

Сеньор Тревес, издатель, дочитал последнюю страницу и экспансивно взмахнул руками:

— Бесподобно! Я ни о чем таком не слыхал!

— Что я вам говорил, — Фонтана, довольный, бесцеремонно похлопал редактора по плечу. — Тридцать франков за каждый номер, так я понимаю?

Он, как верный друг, ни на минуту не забывал интересов Сергея.

— Тридцать франков? — вскинул на него живые глаза Тревес. — Разве мы упоминали о тридцати франках? Двадцать франков. Но мы успеем об этом потолковать. Я потрясен, сеньор Феттер! Вы знали этого Стефановича?

— Да, — Сергей еще не соображал, чем так взволнован издатель газеты.

— Это совершенно по-итальянски! — продолжал бушевать Тревес. — Итальянцы поймут. Вы пишете, что он сам подготовил три тысячи крестьян?

— Да.

— Невероятно! И все разрушил один предатель?

— Я думаю, — сказал Сергей, — из этой затеи все равно ничего бы не вышло.

— Почему? — впился в него Тревес.

— У нас много регулярных войск. Это раз.

— А что — второе?

— Второе относится к революционной этике. Поднять народ на царя во имя самого же царя — на это не пойдет ни один русский революционер.

— Почему?

— Старая «самозванщина», только в новой форме. Мы считаем ее безнравственной.

— Но если бы он победил? Если бы восстание удалось?

— Цели и средства революции должны быть чисты.

— Никогда не соглашусь, — уже спокойно заявил Тревес. — Надо, чтобы вы изменили одно место в своем очерке.

— Какое? — насторожился Сергей.

— Вот это. — И Тревес прочитал о Стефановиче: — «Он задумал план, поразительный по соединению смелости с бесстыдством, грандиозности и практичности — с полной беспринципностью».

— Что же вас не устраивает?

— Я прошу вас убрать «бесстыдство» и «беспринципность».

— Этого как раз убирать и нельзя!

— Но ведь это вредит вашему герою.

— А если это убрать, то будет повреждена правда.

— А нельзя ли выразиться как-нибудь иначе? — покрутил руками Фонтана.

— Нельзя. Я и так пишу об этом в одном лишь месте. Но не сказать об этом нельзя. Иначе профиль Стефановича будет искажен.

— Как вы сказали? Профиль? Сколько же вы хотите дать таких профилей?

Кажется, Тревес понял, что его новый автор кое в чем неуступчив, и решил не нажимать.

— Не обо всех еще можно писать...

— Я понимаю, — кивнул Тревес, — но все же? Мне надо

спланировать материал. Прошу вас побольше таких историй, как заговор Стефановича. Договорились?

— Не обещаю, — опять насутился Сергей. — В жизни все происходит гораздо проще и скромнее, чем мы порой воображаем. Больших сенсаций не будет.

— Будет! — взметнулся вновь Тревес. — Это для вас все буднично и просто. А для нас Россия — загадка. Все, что вы напишете в этом духе, — он потряс листочками о Стефановиче, — сенсация.

— Ну, пусть, — вздохнул Сергей, — завтра я напишу о другом революционере. Он ничем не похож на Стефановича. Это мой друг Клеменц. Его арестовали два года назад и сослали в Сибирь. Он не устроил ни одного заговора и никогда бы не повел людей на верную гибель.

— А может быть, его не надо? — осторожно спросил Тревес.

— Вы мне гарантировали независимость, — напомнил Сергей.

— Да, да, — раздраженно согласился Тревес, — пишите, что хотите. Я напечатаю. Но пишите в том же духе, мне нравится ваш слог. Платить я буду поэтому двадцать франков за штуку, — и на нетерпеливое движение Фонтаны повысил голос, — это хорошая плата. Кроме того, у меня есть идея — издать ваши очерки отдельной книгой. Я не обижу вашего друга, сеньор Фонтана. Кстати, где вы так хорошо изучили итальянский?

— В Италии, — пожал плечами Сергей.

— Вы здесь учились?

— Нет, просто девять месяцев изучал классиков.

— Я это сразу почувствовал, — удовлетворенно кивнул Тревес, — в Италию многие приезжают за этим. Вы пишете очень живо. Приносите весь материал, жду.

— А как насчет задатка? — тронул прежнюю тему Фонтана.

— Сначала весь материал! — Издатель тоже мог быть кремнем. Вряд ли он отплачивал за неуступчивость Сергея, просто не привык вникать в финансовые дела своих корреспондентов.

* * *

Фонтана хотел ссудить его небольшой суммой, но Сергей отказался. Работы было на две недели, не такой уж

долгий срок; если взять залог из библиотеки и тратить в день сантимов семьдесят — как раз хватит.

Но две недели промелькнули, а он никак не мог кончить; пришлось нести в заклад сюртук, а потом и плед.

Сергей сидел на своем чердаке, как колдун, ночи напролет. Никакая работа еще так его не забирала.

Труднее всего давался ему образ Веры Засулич. Не писать о ней было нельзя, но и писать оказалось невероятно сложно. Ее одну из всех его героев хорошо знали в Европе, но именно она рисовалась там в самом невероятном виде. Одним казалась чуть ли не христианской мученицей, другим — гневной Немезидой, с револьвером в одной руке и красным знаменем в другой. Сергей вспоминал свою сумасшедшую статью, напечатанную после ее выстрела в Трепова, и понимал, что теперь-то должен написать совсем по-другому.

Он не сомневался, что она, с ее болезненной скромностью, будет возражать против всяких писаний про ее особу. «Ну, что ж, — решил он, — я постараюсь ничем ей не польстить. Но я прямо, без обиняков напишу и о том, какими сокровищами души, ума и характера она обладает. Пусть Вера не сердится на меня. Я пишу не для нашего с ней удовольствия, а для того, чтобы и сейчас и через время могли люди узнать о том, каковы были русские революционеры».

* * *

Он прочитывал Фонтане готовые куски, поэт бурно одобрял:

— Это фрески! Черт возьми, так размашисто и крупно! Вы художник, Николо, вам надо писать такие вещи, а не статьи и переводы.

— А куда денешься от переводов? — Сергею были приятны похвалы, хотя он и делал скидку на восторженность Фонтаны. — Ваш Тревес даже за книгу хочет платить пус-таки.

— Он жмот, — морщился Фонтана, словно сам был виноват в скупости издателя. — Что вы хоть переводите?

— Попал как кур в ошип, — смеялся Сергей, — взял для одного нашего журнала немецкий роман с «тенденцией», расхвалили мне его, а оказалось — дрянь. Вот и потею, переделываю да дописываю целыми страницами.

— Вы это называете переводом?

— А что поделаешь? Отказаться уже неудобно. Нашему брату, эмигранту, не так-то просто работу сосватать. Ну да пустяки. Переведу — и с плеч долой. Зато у меня есть другой роман. Вот — Бенито Перес Гальдос. Отличный писатель.

— Это с испанского? — удивился Фонтана. — Сколько же языков вы знаете?

— Не так уж много, дорогой Фернандо, — мягко улыбнулся Сергей. — И не все, что должен был бы знать. Польского пока вот не выучил, а ведь поляки наши соседи и друзья в борьбе.

«Этот человек сделает много, — восхищенно думал Фонтана, — он работает, как вол. На кушетку, похоже, сегодня и не ложился. Как вол», — повторил поэт.

Это сравнение лучше всего вязалось с упорством и силой русского, с его внешностью гладиатора и добрым выражением лица. Как вол, не надрываясь, он тянул три тяжелых плуга — переводы и свою необыкновенную книгу. Книга, конечно, являлась главным. Фонтана был горд, что невольно оказался ее «крестным» и что выходила она впервые в свет на итальянском языке.

* * *

В редакции «Жала» вместе с платой за газетный вариант Сергей неожиданно получил даровой билет в оперу.

— Нужен фрак? — слегка растерялся он.

— Ну-ка, — попросил Фонтана билет и развернул его, — репортерские места. Не волнуйтесь. Можете ступать так. Вы были в Ла Скала?

— Ни разу.

— О, тогда я пойду с вами!

В поэте заговорил миланец. Фонтана хотел сам повести Сергея и все ему объяснить.

Репортерские места оказались на самой верхотуре, но видно и слышно было хорошо, а пели итальянцы молодцом. Давали «Риголетто». Давно Сергей не получал такого удовольствия. Но было жаль, что нет рядом Фанни.

Театр был полон. Внизу, в партере, сверкали туалеты светских дам. Внешне все было, как несколько лет назад в Петербурге, когда провожали Соню. Но уйти, как тогда,

в музыку Сергей не мог. Он чувствовал себя одиноко; Фонтана помочь ему тут не мог. Образ Сони неотступно стоял перед глазами...

* * *

Очерк, посвященный Софье Перовской, он писал кровью сердца. Это выражение точно передавало то состояние, когда он работал над ее «профилем». Он получился и страннее и взволнованнее других. В этом не было умаления роли таких людей, как Лизогуб, Кропоткин, Засулич, Клеменц. Просто Соню он любил больше.

Он написал, например, о том, как по-сыновьи относился скептический Стефанович к своему отцу, старенькому священнику. Но эту любовь Сергей оценивал больше умом, а не сердцем. Не так, как он воспринимал привязанность Сони к ее матери.

Он не присутствовал при их последнем свидании, но, получив письма из Петербурга, видел все так, словно это происходило на его глазах.

«Мать Софьи Перовской, обожавшая дочь, — заканчивал он свой очерк о ней, — примчалась из Крыма по первому известию об ее аресте. Она видит ее в последний раз в день приговора. Все остальные пять дней под тем или иным предлогом ее каждый день отсылали из дома предварительного заключения. Наконец ей сказали, что она может видеть дочь утром 2 апреля.

Она пришла; но в ту минуту, когда она подходила к тюрьме, ворота распахнулись, и она действительно увидела дочь, — но уже на роковой колеснице...

То был мрачный поезд осужденных к месту казни».

Со слов одной Сониной подруги, Рины, он рассказал во второй части своих очерков о последних днях Сони на свободе после 1 марта.

Она ни за что не соглашалась уезжать из Петербурга. Не хотела верить в то, что Рысаков, бросивший бомбу в царя, духовно сломался и стал выдавать имена своих товарищей. Не знала, что ее уже ищут жандармы и полиция.

Соня верила, что предстоит еще отчаянная борьба, и не желала покидать город, в котором судили ее друзей, ее Андрея...

Когда Рина сказала ей, что участь Желябова, как и других подсудимых, решена, Соня схватила ее за руки и

«стала нагибаться ниже и ниже и упала ничком, уткнувшись лицом в мои колени, — Сергей почти буквально повторял в своем очерке сообщенное ему в письме Рины. — Так оставалась она несколько минут. Она не плакала, а вся дрожала. Потом она поднялась и села, стараясь оправиться, но снова судорожным движением схватила меня за руки и стала сжимать их до боли...»

Но она справилась с собой, взяла себя в руки и на вопрос подруги, почему Желябов объявил себя организатором покушения (ведь его арестовали за несколько дней до него), твердо ответила: «Иначе было нельзя. Процесс против одного Рысакова вышел бы слишком бледным».

Да, такой была в жизни героиня его книги.

* * *

Кроме «профилей», он написал несколько рассказов о разных случаях из жизни революционеров.

Здесь была история подкопа под полотно Московско-Курской железной дороги; предполагали, что Александр II проследует по ней из Крыма в Петербург и взлетит на воздух.

Участники подкопа знали, какая участь ждет их в случае разоблачения, поэтому в доме, из которого велся подкоп, стояла бутылка с нитроглицерином, которую собирались взорвать в ту минуту, когда полиция станет ломиться в дом; «...невзирая на все опасности, самая искренняя веселость царила в страшном домике, — писал Сергей. — За обедом, когда все сходились вместе, болтали и шутили как ни в чем не бывало. Чаше всех раздавался серебряный смех Софьи Перовской, хотя у нее-то в кармане лежал заряженный револьвер, которым она в случае необходимости должна была взорвать все и всех на воздух».

Рассказал Сергей и о побеге Петра Кропоткина из тюремного госпиталя, о тайной типографии революционеров, об их укрывателях, честных и самоотверженных людях, которые прятали у себя «страшных государственных преступников». Многие из подпольной жизни его друзей проходило вереницей в его рассказах и «профилях». Они приоткрывали завесу над тем, о чем пугливо шептали обыватели в России и о чем совершенно ничего не знала Европа.

«Самое опасное, — размышлял Сергей, — изоляция, неведение и ложь. Что знают о нас в Европе? Что знают о нас в России? У обывателей самые дикие взгляды. Мнение общества питается тем, что ему подsunут продажные писаки. Подло и глупо. Революционеры — исчадия ада. Нигилистки — стриженные девки. Разбивать эти предрассудки! У здравомыслящих людей должно быть верное понятие о том, кто мы такие и чего мы жаждем. А тех, у кого есть сердце, надо склонять на нашу сторону».

В общении с Фонтаной — а он был единственным человеком, с которым Сергей тесно сошелся в Милане, — Сергей понял, как много можно сделать нелживым словом. Сергей переживал небывало радостное, пьянящее чувство, — кажется, вновь получал возможность приносить настоящую пользу своим друзьям, боровшимся в России.

Сергей не подозревал о том, что в это время ему из Петербурга идет то самое письмо, которое он с таким нетерпением и надеждой ждал все эти эмигрантские годы.

Получив письмо с вызовом, Сергей растерялся. Еще несколько месяцев назад он, не задумываясь, бросился бы на границу. Но сейчас, когда была отдана в печать книга и вот-вот начнут поступать гранки, он этого сделать не мог. Он не имел права оставить ее без призора, обязан был за всем проследить, все вычитать. Отказаться от нее в момент ее рождения означало бы — предать.

Вызов в Россию застал его врасплох. Откровенно говоря, Сергей уже не ждал, что его позовут в ближайшее время. Будь он еще в Женеве... Да нет, все равно. Даже если бы ему и помогли с переводами, книга задержит на месяц, а то и больше. Что же делать?

Весть привезла Фанни. Она потому и приехала, потратив на дорогу последние деньги, что не знала, как поступит Сергей. А вдруг ринется в Россию, не заехав в Женеву?

— И ты думала, я уеду, не повидав тебя? — упрекнул он.

— Я не думала... Я боялась, — оправдывалась она, радуясь тому, что Сергей нисколько не сердится на ее

приезд. — Знаешь, в Женеве столько разговоров... Так все неожиданно. Там что-нибудь случилось?

Она думала, что он осведомлен в чем-то еще, сверх тех известий, которые привезла она.

Он покачал головой.

— Не думаю. Наоборот.

— Почему же тогда Георгий просил передать, чтобы ты не торопился?

— У него с Верой свои взгляды на то, что надо нам сейчас делать.

— А ты не согласен?

— Я не хочу вникать в споры Георгия и Дмитро. Я нужен сейчас там. Но я не могу сразу поехать, вот в чем загвоздка.

Две складки вспухли над его переносьем.

Фанни так хорошо их знала. Он мучился и не хотел говорить об этом; а она не знала, как ему помочь.

* * *

Сергей провел бессонную ночь. Наутро заставил себя написать в Женеву:

«У меня несколько печатных работ, которые бросить неоконченными ни в каком случае не могу. Во-первых, моя книжка... множество людей взбудоражены, и вдруг я всех надую, это весьма неприлично, и я не желаю этого делать в данном случае еще потому, что полагаю, что книжка будет полезная.

Кроме того, у меня имеется еще одна легальная работа, которую тоже нельзя не кончить: это просто значило бы прослыть мазуриком или, по крайней мере, человеком, не сдерживающим свое слово... Две названные работы, да еще два перевода, которые тоже сдать никому не могу, займут у меня около двух месяцев...»

Он не писал о том, какую приносил жертву, отказываясь ехать немедленно; лишь напомнил, чтобы все нужные документы оставили у Веры и не беспокоились о его переезде через границу.

* * *

Отныне все получало новый смысл. Сергей сидел над книгой сутками. Засыпал ненадолго, выходил с Фанни по-

гулять и, освеженный, вновь вгрызался в работу. Он готовил книгу так же тщательно, как когда-то в России все свои предприятия; и даже слегка сердился на Фонтану, который поторапливал. Он мог бы привести поэту пушкинские слова: «служенье муз не терпит суеты», если бы не считал свою книгу таким же нелегким делом, как освобождение из тюрьмы или покушение на чиновного негодяя. К «музам» она не имела никакого отношения.

Очерки в газете были коротки. Книга требовала масштаба. Сергей расширял «революционные профили» и заново переписывал вторую часть, в которой рассказывал о памятных эпизодах подпольной жизни. Название он сохранил старое — «Подпольная Россия», хотя по-итальянски оно звучало несколько иначе, с искажением — «подземная Россия». К сожалению, в итальянском языке не нашлось слова, которое бы точно передавало русское.

Оставил Сергей и псевдоним, который очень нравился Фанни. Начиная со второго очерка в газете он подписывался звучным, но ничего не значащим для итальянцев именем Степняк. Для него же в этом слове звучала вся Россия. Проглядывало в нем и то единственное место на земле, к которому он питал сыновью привязанность, — маленькое селцо Новый Стародуб, потерянное в безбрежных украинских степях. Там, в семье главного врача военного госпиталя, когда-то родился мальчик, которого называли Сергеем...

* * *

Сергей прогонял Фанни на улицу, ей-то совсем было необязательно просиживать целые дни под раскаленной на солнце крышей. Но Фанни слушалась его плохо. Она тоже воспринимала всю эту южную благодать как малозначащую декорацию. Ей доставляло удовольствие сидеть рядом с ним, переписывать набело его невозможные рукописи и разговаривать, когда он отрывался от своих переводов или книги. Она вела их спартанское хозяйство и приходила в ужас от миланских цен.

Из Парижа прислали предисловие, которое согласился написать к «Подпольной России» Петр Лаврович Лавров.

Для Сергея это предисловие значило очень много. Его книга выходила за подпись никому еще не известного

автора. Теоретик русского народничества, старый революционер Лавров пользовался европейским авторитетом. Он свидетельствовал, что рассказы Степняка — не выдумка, а слово очевидца. «Между именами самых энергетических деятелей на всех путях, которыми шло до сих пор русское революционное движение, — писал Лавров, — русские революционеры всегда упоминают имя того, кто выступил теперь пред европейскою публикою под псевдонимом «Степняк». Я говорю: пред «европейскою», а не только пред итальянскою, потому, что уверен, что интересные очерки людей и фактов, издаваемые в настоящую минуту «Степняком» на итальянском языке, очень скоро найдут себе переводчиков на других западноевропейских языках.

Пора, наконец, чтобы пред глазами европейских читателей развернулась достоверная и живая картина этого движения...»

* * *

Квестор миланской полиции делал между словами значительные паузы и подолгу останавливал на редакторе неподвижный взгляд. Новичка это могло смутить, но Тревес общался с квестором много раз и знал его тяжелую манеру вести разговор. Впрочем, для легкой беседы полицейский никогда бы не пожаловал в редакцию газеты.

— Значит, познакомиться нельзя? — спрашивал квестор.

— Я вам объясняю, — терпеливо повторял Тревес, — автор присылает нам корреспонденции из Швейцарии.

— Так он в Швейцарии?

— Я уже говорил.

— В Женеве?

— На конвертах женеvский штемпель.

— Можно полюбопытствовать?

— Извольте.

Тревес порывлся в бумагах на столе и протянул полицейскому конверт.

— Да, да, — квестор со всех сторон оглядел конверт, — в самом деле. У вас обширная корреспонденция, сеньор Тревес. Обратный адрес не проставлен...

— Для нас это неважно.

— Понимаю... а как же гонорар?

— Мы высылаем до востребования.

— Понимаю, — кивал головой квестор, — не нравится мне все это.

— Что именно?

— Тайны, тайны, сеньор Тревес! Неужели вы не понимаете? Этот Степняк опасная птица.

— Мы знакомы заочно. Я всего лишь получаю корреспонденции и печатаю их в своей газете. Вы не отрицаете моего права печатать любой материал о других странах?

— Кто же его отрицает? — квестор надолго замолчал. — Италия имеет хорошие отношения с Россией.

— Моя газета не подчинена правительству, — с вызовом заявил Тревес.

— Все до поры до времени, — задумчиво проговорил квестор. — Прославление государственных преступников даже другой страны...

— Мне нет дела до политики, — перебил его Тревес.

— Зачем же печатаете эти очерки?

— Они интересны читателям. Я забочусь о коммерции. Вы не станете спорить, что очерки написаны блестяще?

— Вот это меня и беспокоит, — живее, чем прежде, откликнулся квестор, — они могут дурно повлиять на итальянцев.

— Преувеличиваете, — беззаботно возразил Тревес.

— А ваш автор не собирается в Италию?

— Мне ничего не известно.

— Если вы что-либо узнаете, не откажитесь сообщить. Я бы очень хотел познакомиться с ним лично.

— Не сомневайтесь, — горячо заверил Тревес, — если только он приедет в Милан, я тут же вас извещу.

* * *

Фонтана прекрасно понимал, что с миланской полицией шутки плохи. Тревес заверял, что все уладил. Возможно и так, но полиция будет рыскать и помимо редактора. Мало ли доброхотов на свете? Выследят и продадут. Тревес изобразил себя чуть ли не античным героем. Старая лиса. Ему, понятно, невыгодно раскрывать раньше времени карты — книга еще в печати, а вдруг запретят? Он ведь тогда крупный куш упустит. Ну и репутация — дело для него не последнее.

Фонтана поднялся к Степняку на чердак и остановился перед дверью. Степняк и его жена пели. Из-за тонкой двери стройно и чисто звучали их голоса. Фонтана никогда раньше не слышал, как они поют, даже в голову не приходило, что они могут петь вдвоем, да еще так ладно. Он прислонился к стене и закрыл глаза.

Незнакомая, красивая мелодия уносила в далекие, печальные края. Они были где-то на берегу моря, и Фонтана чувствовал, что это море не так ласково и лазурно, как то, которое у берегов Италии. Где-то в серой, туманной дали плыла лодка, и парус ее то появлялся, то пропадал среди высоких волн. Два человека на берегу хотели что-то сказать тем, которые подняли парус, но их голоса относил ветром. Это было очень грустно, потому что парус уплывал все дальше, а двое на берегу оставались совсем одни.

Низкий голос Степняка вел мелодию, а высокий, звонкий голос жены трепетал рядом, словно солнечный лучик.

Они кончили петь, и за дверью стало тихо. Фонтана понял, что для его друзей песня не безделица, и вспомнил, как сам часто надолго уходил в себя после хорошей песни. Он даже заколебался — не удалиться ли, чтобы не спугнуть их настроение? Но дело, ради которого он пришел, было слишком серьезно, и он постучал.

Степняк сидел на полу возле окна и чинил женский башмак. Делал он это так уверенно, что Фонтана оторопел. Его лицо рассмешило Сергея.

— Вам это в диковинку?

— Да нет, — совсем потерялся Фонтана, — вы, кажется, все умеете делать.

— Э, нет, — подхватил Сергей, — далеко не все. Если бы я так же крепко научился делать книги!

— Что бы тогда?

— Тогда я был бы самым счастливым человеком.

— Так вы им будете!

— Поэты любят преувеличивать, я это знаю. А вот прибить вам новую подметку я смогу, хотите? Знаете, сколько я экономлю на починке обуви? Спросите у Фанни. Она вам скажет, что я самый выгодный муж.

Он повторил последнюю фразу по-русски.

— Ты болтушка, — ласково сказала Фанни, — пригласи гостя сесть. По-моему, он чем-то озабочен.

— У вас что-нибудь случилось? — спросил Сергей.

— Так, разная безделица, — сказал Фонтана. — Мне в Милане ничего серьезного не грозит, разве что безденежье.

— Отчего же вы такой хмурый?

— Полиция интересуется автором «Подпольной России».

— Вот оно что.

— Квестор навел на Тревеса.

— Первая ласточка...

— Что же делать?

— Не вешать носа прежде всего.

— Вы все шутите.

— Не плакать же. Тревес что-нибудь сказал?

— Нет.

— Значит, есть время. Я ведь сам должен вычитать всю корректуру.

— Это вы успеете. Тревес и сам заинтересован в этом.

— Тогда все в порядке. Но из Милана придется уехать. Если зашевелилась полиция, мне тут долго не усидеть.

— Куда же вы поедете?

— Домой, на родину! Куда же еще, милый Фонтана? Вот только закончу с книгой.

* * *

Он читал корректурные листы, когда вошла Фанни и сказала:

— Дмитро арестован.

Из Женевы сообщили, что Яков Стефанович схвачен жандармами в Москве шестого февраля.

«Как долго идут письма, — подумал Сергей, — у нас скоро март, совсем тепло. А в Москве еще снег, дети катаются на санках... Как же так получилось? Случайность, ошибка, предательство? Да нет, может быть, совсем другое. Закономерность».

Он повторил несколько раз про себя это слово. Когда чуть ли не каждый месяц арестовывают людей, перестанешь думать о случайности. Это закономерность. Неизбежный исход нашей схватки. Мы ведь сознательно идем на нее и знаем, что рано или поздно погибнем. Просто отсрочка у каждого своя.

На нашем пути веками — тюрьмы и могилы, и никакими новыми силами не возместить потерь.

Стефановича не могли, не должны были арестовать, по крайней мере сейчас. Что же все-таки произошло?..

Сергей перелистал корректуру, перечитал свой рассказ о том, как несколько лет назад Стефанович бежал из киевской тюрьмы.

Горько читать про это, зная о его новом аресте. Такое чудо, как побег, повторяется редко. Неужели этот очерк о нем станет могильным памятником?

Сколько уже было жертв: Перовская, Желябов, Кибальчич, Лизогуб. Совсем недавно арестовали и казнили Степана Халтурина.

Сергей машинально перебирал тонкие листки с напечатанным по-итальянски текстом и вспоминал друзей: Дмитрия Рогачева, Леонида Шишко, Феликса Волховского, Димитрия Клеменца, Николая Морозова. Они были еще живы, но свидеться всем им вместе, кажется, уже не суждено.

— Что же с ним теперь будет? — спросила Фанни.

— Скорее всего — тюрьма, — ответил Сергей, — к смертной казни его не приговорят. Нет оснований.

— Я боюсь подумать о том, если вдруг арестуют и тебя...

— Почему же меня непременно должны арестовать?

— Если бы ты поехал вместе с ним, тебя бы тоже арестовали.

— Может быть, — рассеянно сказал Сергей, — но это уже не имеет ровно никакого значения.

* * *

До отъезда из Милана он успел обменяться письмами с Верой.

Сразу же, как были отпечатаны первые экземпляры «Подпольной России», он послал книгу в Женеву.

«Милая Верочка! — писал Сергей. — ... Напишите, пожалуйста, как понравилось. Ведь вы читаете по-итальянски — хоть со словарем. Уже потратьте денек времени — буду вам очень благодарен за всякое замечание, хотя бы самое резкое.

Затем должен еще попросить вас сказать откровенно, очень ли вы сердитесь на меня за ваш «профиль» или не очень. Что вы будете сердиться на некоторые места, это я

знаю заранее. Но, увы, мне нужно было либо отказаться от своего труда совсем, либо помириться с этой печальной неизбежностью. Но отказаться от него я не хотел: единственная часть моей «Подпольной России», которую я ценю, это именно «профили», потому что я все-таки более других знаю этих людей, а мне хотелось хоть что-нибудь сделать, чтобы их образы не совсем утонули в бурлящей пучине русской политической жизни... Почему я думаю, что без меня они могли бы «утонуть»?.. Просто потому, что так сложились обстоятельства. Из действовавших никто, кроме меня, не пишет, не имеет возможности писать и погибнет, по всей вероятности, раньше, чем получит эту возможность...»

Вера ответила очень быстро, очевидно, ее «профиль», то есть очерк о ней, затронул ее за живое.

«...моя «профиль»? — сердито спрашивала она. — Будь я цензором, которому предоставлена власть над вашей книжкой, наверное, вымарала бы ее всю... Но это неприятное впечатление, конечно, не имеет никакого соотношения с достоинствами или недостатками очерка. Опиши меня какой-нибудь гениальнейший писатель так верно, что и верней быть нельзя, мне было бы еще неприятнее, и чем полнее было бы изображение, тем хуже. Этого, я думаю, нельзя даже отнести целиком на счет моей оригинальности; это, мне кажется, чувство довольно распространенное, и на нем основан обычай печатать воспоминания о приятелях только после их смерти».

Сергей огорчился, но от своего отступить не хотел: «...вы абсолютно ошибаетесь в самой сущности вашего утверждения что воспоминания о людях пишутся только по их смерти... Не только о Гарибальди целая масса воспоминаний... есть, но даже о таком, сравнительно, очень мизерном, как Гамбетта... Вовсе не думаю, что изобразил вас целиком — говорю совершенно чистосердечно. Мне даже было это просто невозможно, потому что, в сущности, я вас вовсе не так близко знаю».

* * *

— Вы явно преувеличиваете некоторые качества своих героев, — вспыхливо говорила Вера через несколько дней, когда они встретились в Женеве и продолжили спор.

— Преувеличиваю? — прищурился Сергей.

Он был доволен, что она произнесла это слово.

— Да.

— Прекрасно! А если я делаю это нарочно?

— Нарочно? — пожала плечами Вера. — Зачем?

— В Лизогубе я преувеличиваю жертвенность. А в Кропоткине — ораторский дар. А в Клеменце — талант пропагандиста.

— Да, вы правы. Вы всех словно приподняли — и...

Она замялась, Сергей подсказал:

— Приукрасил? Вы это хотели сказать?

— Пожалуй.

— Нет, я никого не приукрасил. А насчет приподнятости вы правы. Нам сейчас многое мешает, глаза наши засорены. Мы заняты мелочами, будничной работой. И Клеменца, и Кропоткина вы знаете как товарищ, близкий человек. Уверены ли вы, что видите их в настоящем свете?

— Уверена.

— Для нынешнего дня. А пройдет время? Все мелочное отомрет, останется только главное.

— А что главное?

— То, что сделал человек для истории.

— Я как-то не чувствую еще себя историческим памятником, — пошутила Вера.

— Да ведь и я не делаю из своих друзей монументы.

* * *

Кое в чем Сергей убедил Веру. Она уже готова была согласиться с тем, что он не идеализирует своих героев, а лишь укрупняет их. У Сергея, несомненно, было чутье угадывать в людях их лучшие черты. Он, наверное, имел право эти черты несколько преувеличивать. Другому Вера этого бы не простила, а что касается до самой себя, то и попросту бы не разрешила. Но Сергей был художник. Это сквозило в каждой строчке его небывалой книги.

Вера не могла не видеть, что книга Сергея не простой документ очевидца, а восхищенный рассказ писателя, которого прежде всего волнуют человеческие качества героев. И он действительно умел создавать живые образы людей. Можно было, конечно, кое-чего избежать и в ее «профиле», и в «профиле» Клеменца и других, но как бы то ни было,

«Подпольная Россия» говорила правду. И написал ее не кто-нибудь, а Сергей Кравчинский, их Сергей, которого все они так любили. Она радовалась тому, что в их среде родился настоящий писатель.

Он был художником во всем; его даже не очень волновали теоретические споры, он их не любил, предпочитал не вмешиваться, но тут как раз, по мнению Засулич, совершал большую ошибку. Сергей отказался войти в группу, которую организовали в Женеве сторонники Маркса, в том числе она и Плеханов.

— Не понимаю, — раздражалась Вера, — вы же сами писали «Народной воле», что научность Маркса — истина, которую не пошатнешь.

— Писал и готов повторить это где угодно.

— Но мы же понесем эту научность России!

— Россия велика.

— Прежде всего рабочим, — уточнил Георгий.

— Ничего не выйдет, — сказал Сергей. — Вы забыли? Даже Халтурин стал в конце концов террористом.

— Тогда стал, — кивнула Вера. — А теперь так же, как вы, отказался бы от террора.

— Может быть...

— Многие изменилось за это время. В Москве и Петербурге рабочих гораздо больше, чем было прежде...

— Дело не в количестве, — перебил его Сергей, — крестьян десятки миллионов, но они нам пока ничем не помогли.

— И не помогут, если мы будем жить по старинке, — опять вмешался Георгий.

— Не знаю, — понурился Сергей, — отсюда многое не ясно. Надо ехать в Россию.

— А если вам на несколько лет путь туда заказан?

— Почему же на несколько лет? Я не так мрачно смотрю на вещи.

— Ну, а я в таком случае пессимист. Жандармы считывали и на вас, когда попался Дмитро. Нам теперь это известно из верных рук. Хотите или не хотите, а вам надо выбирать какую-нибудь одну дорогу. По-моему, мы должны идти вместе.

— Я и не иду вам поперек, — Сергей дружески улыбнулся Вере и Георгию, — но дорога у меня своя. Теперь-то я знаю, что наконец выбрался на нее.

Дорога у него теперь была только одна, и последние события в Женеве лишний раз убеждали в этом.

Умирили друзья, безмолвно завещая сберечь память о них. Сначала — Саша Хотинский, тихий юноша, заболевший в России туберкулезом; потом Андрей Франжоли, которого вместе с Леонидом, Соней и Димитрием судили еще по процессу «193-х». Наконец — Софья Бардина.

Ее смерть отозвалась всего больней...

Весна того года в Женеве была особенно благоуханной и солнечной. Горы ласково окружали озеро, а по тихой воде скользили нарядные лодки. Вечером, в темноте, их разноцветные огоньки сновали в каком-то пьяном хороводе. В нем не было никакой осмысленности, просто хаос, а может быть, наоборот, как раз и таился самый сокровенный смысл людского бытия. Можно было сойти с ума, глядя на этот счастливый хоровод.

Сергей, страдая, представлял, что должна была чувствовать Бардина, видя каждый вечер эту назойливую картину.

Она появилась в Женеве несколько месяцев назад, испугав друзей своим болезненным видом. Шесть лет Бардина провела в тюрьме и ссылке, и эти годы высосали из нее здоровье. Вместо бойкой, сильной девушки в Швейцарию приехала тень. Было непонятно, как ей удалось в таком состоянии бежать из ссылки, с Ишима. Оттуда даже здоровый человек приезжал разбитым. А ей ведь надо было предусмотреть тысячу случайностей, обмануть сотни глаз...

Анемия подорвала ее волю. Она уже не верила, что снова сможет работать. Руки опускались, как плети; она засыпала от усталости над книгой. В ее глазах теперь всегда стояли слезы. Друзья делали все, чтобы помочь ей, но всего предусмотреть не смогли...

Она выстрелила себе в сердце — револьвер дал осечку; она взвела курок второй раз — и снова осечка. Закусив губу, дрожащей, слабеющей рукой Бардина выстрелила в третий раз... Пуля застряла в стенке сердца.

Девушка умирала долго, двенадцать мучительных дней...

За окном зеленел больничный сад. Прошла по чистой дорожке сестра милосердия в белой наколке на голове. Бе-

лую занавеску окна мягко толкал ветер. В палате было тихо; слышалось только трудное дыхание раненой. Бардина лежала с широко раскрытыми глазами. Лицо ее было бледно, сухо. Она не жаловалась, не стонала, ничего не просила.

Сергей смотрел в ее исстрадавшееся лицо и вспоминал, как несколько лет назад был потрясен ее бесстрашной речью на суде. Он, как и многие другие, знал ее наизусть: «... я не прошу у вас милосердия и не желаю его... Я убеждена, что наступит день, когда даже наше сонное и ленивое общество проснется, и стыдно ему станет, что оно так долго позволяло топтать себя ногами, вырывать у себя своих братьев и дочерей и губить их за одну только свободную исповедь своих убеждений! И тогда оно отомстит за нашу гибель!.. Преследуйте нас, — за вами пока материальная сила, господа; но за нами сила нравственная, сила исторического прогресса, сила идеи, а идеи — увы! — на штыки не улавливаются!..»

Тогда эти слова звучали как клятва. Их услышали все, и они воспламенили многих...

Не каждому из нас выпадет на долю такое счастье. Сотни и тысячи таких же, как она, были загнаны в Сибирь, но пропали там бесследно. Кто их знает? Кто их помнит, отдавших людям свои мечты, любовь и таланты? Может быть, они сочли бы за счастье такую смерть на свободе, на виду у своих друзей, а не в пустынных улусах и рудниках.

Где сейчас Дмитрий Рогачев, Феликс Волховский?.. В какой тюрьме, в каком захолустье? Дойдут ли когда-нибудь до свободных людей их голоса?

Вера сидела у постели и гладила прозрачную руку Бардиной.

Губы ее зашевелились, Сергей услышал слабые слова: — Поскорее бы все это кончилось.

Больше до самого вечера, до десяти часов, она ничего не говорила. В десять часов она умерла.

* * *

Сергей должен был ехать, но, рискуя быть арестованным полицией, остался в Женеве.

Он сидел в маленькой клетушке Плеханова и писал от имени всех, кто знал Бардину: «... на родине, за которую

она столько выстрадала, — имя ее слишком громко. Сквозь заставы и цензуру, сквозь решетки и рогатки дойдет туда весть о ее безвременной кончине; да дойдет и повесть о ее жизни и страданиях. И пробудит она воспоминание о той чистой, апостольски самоотверженной девушке, которая когда-то заставляла проливать слезы умиления, — и желчью и ядом станут теперь эти слезы... Ее страдальческий образ будет жить в памяти людей и, быть может, не в одной молодой душе зажжет он жажду мести».

Ни Георгий, ни Вера, ни Фанни не торопили Сергея, они понимали его состояние.

Когда же очерк о Бардиной был отдан в типографию, Георгий положил перед Сергеем билет.

— Вы думаете, в Париже будет безопасней? — усмехнулся Сергей.

— На первое время.

— А потом?

— Потом придется перебраться в Англию.

Эта страна была единственным местом в Европе, откуда его не смогли бы выцарапать русские жандармы.

* * *

Ветер свистел в снастях, как вьюга в степи. Сергей закрывал глаза и попадал на крыльцо родного дома; цепко держался пальцами за перила, а вьюга, налетая зверем, силилась оторвать его и утащить прочь. Он не поддавался ей и даже не чувствовал холода, только леденели пальцы. За спиной открывалась дверь, голос матери отчаянно вскрикивал: «Ах, батюшки, опять ты здесь!» Теплые руки брали его за плечи и уводили в дом. Сергей прижимался щекой к платью, которое пахло шерстью, корицей, свежим пирогом с жареной, румяной корочкой — такими знакомыми, вкусными запахами. Он знал, что ругать его не будут, а он через некоторое время опять улучит минутку и выскочит на темное, свистящее крыльцо...

Шхуну шатали волны, над носовой палубой взлетал бурун и рассыпался брызгами.

Из люка вылез матрос, сел на канаты рядом с Сергеем и раскрыл кулак: на бугристой, цвета старого корня ладони сверкнули две капельки. Как они туда попали невредимо, оторвавшись от буруна, сразу было и непонятно.



А когда Сергей склонился над ладонью, то разглядел, что к капелькам приделаны серебряные дужки.

— Жемчуг, — сказал матрос, и при резком крене судна его ладонь закрылась, спрятав жемчужины, как живая, причудливая раковина.

Сергей с любопытством рассматривал матроса: он был, как на старинных гравюрах, в брезентовой куртке и вязаной шапочке; толстый нос и круглая борода, а в глазах то ли пьяная тоска, то ли сердитый вызов.

— Красиво, — сказал Сергей, чтобы не обидеть матроса.

— Покупайте. — Раковина опять раскрылась.

— Зачем? — удивился Сергей.

— Подарите невесте, — в свою очередь удивился матрос. — Индийский жемчуг. Не верите?

— Верю, — поспешил согласиться Сергей — матрос торговал не на шутку. — Но у меня нет денег.

— Э, — брезгливо возразил матрос, — я недорого спрошу.

— Нет, голубчик, — уже спокойнее отказался Сергей, — видите, у меня и билет-то палубный.

— Как хотите, — пробурчал матрос и, сунув свой жемчуг в карман, заколол пальцем вдоль борта.

«А были бы лишние деньги, — подумал вдруг Сергей, — купил бы. Странная за границей жизнь, ей-богу. Стал бы я раньше думать об этих серьгах... Да и Фанни в голову бы не пришло». И тут он вспомнил, что в ее ушах дырочки. Да, да, крохотные, едва заметные дырочки. Значит, когда-то она прокалывала их для сережек. Господи, а что удивительного? У каждого из нас было свое детство.

Вспомнился белый воротничок, неизменно украшавший тонкую шею Сони. Он был всегда очень наряден и красив. Да, именно красив, и Сергей любовался ее строгим, скромным нарядом. Соня ведь была очень красива и, кроме ослепительно белого воротничка, не нуждалась ни в каких украшениях...

«Как бы отнеслась Фанни, если бы я подарил ей сережки? Удивилась бы, огорчилась, обрадовалась? Нет, скорее всего, печально бы спросила: «Что это с тобой, Сергей, я тебя не узнаю». Воистину смешно. Если бы я стал сочинять фантастический роман, то вообразил бы себе тогда какую-нибудь такую картину...»

И тут в самом деле, качаясь в такт кораблю, зашевелились странные образы.

Это происходило в далеком, страшно далеком будущем. Все проблемы были решены, а люди остались наедине с собой и природой. Они заботились только о гармонии и красоте. Ювелиры вытачивали чудные камни и ковали ажурное золото. Все женщины и даже мужчины владели искусством подчеркивать свою красоту. Все к этому стремились и все имели для этого возможность.

«Все, все», — подтверждала, валясь с боку на бок, пассажирская шхуна.

«Нет, — отмахнулся Сергей, — это было бы слишком абсурдно.

А разве не абсурд то, что творится сейчас? Казнили Соню, Валериана, Степана... От живых требуют покорности. На троне сидит жандарм. Холуи и хамы процветают. У мужика и рабочего рвут последнюю копейку. Это ли не кошмарная фантастика?

Мы же свыклись, притерлись. Мы воспринимаем мир, в котором живем, как что-то обыкновенное. Миллионы не хотят замечать абсурда».

Матрос тяжело прошел мимо и скрылся в своем люке.

Сергей вспомнил сверкающую побрякушками грудь жандармского генерала. Если бы все достигалось так просто: удар кинжала — и прочь от себя оседающее, неживое тело, — можно было бы вновь пойти на это, несмотря на всю тяжесть убийства.

Он ни о чем не жалел, глупо сожалеть о прошлом. Но сколько непоправимых ошибок и неоправданных жертв! Разве стоят десятки этих, в побрякушках, хотя бы одной слезинки той чудной девушки, которая перед казнью просила маму прислать ей в тюрьму белый воротничок и рукавички с пуговками?

* * *

Белые берега Англии выплыли из тумана — то ли как стены крепости, приглашая под свою защиту, то ли, напротив, недружелюбно подкарауливая странника.

Сергей, не мешкая, перебрался из Дувра в Лондон и отыскал себе дешевую комнатку в кирпичном доме на улице Принца Уэльского.

Кроме названия, в ней не было ничего аристократического — скучный ряд домов, чахлая зелень; совсем как в Петербурге, где-нибудь на окраинах Выборгской стороны или у Московской заставы. Но унылая обстановка не раздражала. Дом был тихий, никто не мешал работе; а новые, интересные знакомства происходили чуть ли не каждый день. Оказалось, что многие в Лондоне его знают, то есть понаслышке, от друзей, а главное — по книге: «Подпольную Россию» перевели на английский, и первый тираж уже успел разойтись...

— Я прочитал еще по-итальянски, — сказал Энгельс, у которого Сергей был через несколько дней после приезда в Лондон. — Острее клинка ваша книга.

Он, улыбаясь, смотрел на Сергея, и тот мог лишь догадываться, почему Энгельс произнес эти слова. Возможно, он все знал. Да ведь и не было ничего удивительного в том, что кто-нибудь — Кропоткин, предположим, — уже рассказывал ему о подробностях казни Мезенцева.

Последние слова Энгельс повторил по-итальянски да еще на миланском диалекте, и тут выяснилось, что он очень давно жил в Милане, месяца три, но помнит все, словно ездил вчера. Стали вспоминать знакомые им обоим места, обычаи миланцев...

Знал Энгельс хорошо и стихи, рожденные в Милане. Две строфы из стихотворения Фонтаны он прочитал наизусть — и это как-то сразу сблизило Сергея с Энгельсом. Он тоже выделял Фонтану среди других поэтов современной Италии. Сергею было приятно рассказывать о своей дружбе с этим человеком и о том, как много сделал Фонтана для книги о русских революционерах.

Потом Энгельс достал из шкафа тоненькую, полузабытую Сергеем книжку:

— Она вам знакома? Мне ее Лавров когда-то прислал.

Сергей перелистывал страницы и будто снова слышал наивный юношеский лепет о горемычной копейке. Никогда бы не подумал, что она сможет докатиться до Лондона, до этой строгой, забитой книгами квартиры.

А высокий крепкий старик удивлял его дальше, обнаружив вдруг такое знание нелегальной русской литературы, какое Сергей не часто встречал даже у соотечественников.

Энгельс был очень умен и дьявольски образован. Сергей никогда раньше не получал от разговора с человеком такого наслаждения. «Как хорошо, что я приехал в Лондон, — думал он, — но писать отныне надо будет строже. От его глаз ничто не ускользнет».

Он в двух словах рассказал о своей новой книге.

— Так, так, — кивал Энгельс. — А как вы ее назовете?

— «Россия под властью царей».

— Значит, очерки? Тюрьмы, трибуналы, ссылка, судьба университетов? Да, это надо. Западная Европа мало знает, что творится в России. Но не забудьте живых эпизодов. Мне кажется, в этом вы сильнее.

Он остро глянул на Сергея, и тот почувствовал, что Энгельс мог бы сказать больше, чем сказал, но сейчас по каким-то причинам этого делать не хочет.

Сергей вспомнил последний спор с Георгием и Верой, уговоры войти в их группу, которую они называли «Освобождение труда», и подумал о том, что Энгельс, скорее всего, склонился бы не на его, а на их сторону.

Они говорили о том, что их группа постарается сделать то, чего не хватало «Народной воле», — соединит революционеров с пролетариатом и даст научную теорию революции. А Сергея теории никогда особенно не увлекали: он предпочитал действовать. Что же касается рабочих, то он не верил, будто в ближайшее время их можно будет поднять на борьбу. Слишком свеж был для него печальный опыт Степана да и свой собственный, в Петербурге, тоже...

«В этом вы сильнее...» Да я и сам чувствую. Кончу очерки, примусь за повесть или роман, рискну; без всяких теорий, просто рассказ о людях, о том, как они жили, как шли на плаху. «Как любили, — подсказал нетерпеливый голос, — как были людьми...» Да, да, это тоже надо, о нас, революционерах, еще так не писали. Нежданов у Тургенева — это не то, совсем не то; хотя Тургенев — Тургенев, и с ним состязаться не шутка...

— Здесь работать вам не помешают, — услышал он вновь Энгельса, — вы это почувствуете. В Англии пока нас, эмигрантов, не преследуют.

Странно было услышать от Энгельса признание в том, что и он эмигрант. Сергей полной мерой хлебнул эмигрантской жизни. Слово «эмигрант» царапало его. В нем гнезди-

лось унижение, нищета, бесправие, боязнь выдачи. А Энгельс? Высокий, властный, сильный. Недаром его, любя, называют генералом. В нем все было крупно — рост, руки, голова. И говорил он вескими, крупными словами. Общаясь с ним, другой человек невольно и сам чувствовал себя более сильным. А Энгельс, кажется, видел это, и в его глазах изредка вспыхивал мудрый, лукавый огонек.

Вернувшись от него домой, Сергей обнаружил письмо Плеханова.

«Вы живете в Лондоне, — сердито отчитывал его Георгий. — Что вы там делаете? Знаете ли вы, что там живет Энгельс? Такие люди рождаются не так часто. Поэтому требую от Вас обязательно познакомиться с ним и прислать мне отчет. Это возмутительно, что Вы до сих пор не были у него, надо непременно к нему пойти».

«Да, возмутительно, — вовсю улыбался Сергей, — я полностью с вами согласен, но я уже был у Энгельса, милый Жорж, был, понимаете? И непременно пойду к нему на следующей неделе, это я вам обещаю».

* * *

Все лето и осень в английской столице гремели взрывы. Рвался самый настоящий динамит, разрушая дома, мосты, убивая и калеча людей. Жители были в панике. Полиция не могла поймать злодеев. А злодеи — ирландцы — взрывами хотели устроить англичан. Не всех — правительство. Ирландия добивалась свободы, и ирландские эмигранты в Америке решили организовать террор.

Сергей сомневался, что они добьются своего такой жестокостью. Уж кто-кто, а он не верил в успех динамитчиков и благоразумие правительств.

До зимы он, однако, оставался наблюдателем. В начале нового 1885 года схватка вдруг коснулась и его.

Он возвращался из типографии, куда устраивал печатать свою книгу, когда возле дома повстречал хозяина. Толстый, добродушный англичанин был на этот раз чем-то обозлен. Он помахал перед носом Сергея газетой:

— Что вы на это скажете, сэр? Мало нам ирландцев! Теперь русские.

Сергей забрал у него газету: некто мадам Новикова намекала на то, что взрывы — дело рук русских эмигран-

тов, которые готовят в Англии заговоры против русского правительства; называла и его имя, Степняка.

— Клевета, — спокойно сказал Сергей, — русские в Англии не готовят ни покушений, ни заговоров.

— А почему же Новикова утверждает? — хозяин опять потрясал газетой. — Она что-то знает. Она ведь тоже русская.

— В этом я сомневаюсь, — брезгливо бросил Сергей.

Мадам Новикова не первый раз обливала грязью эмигрантов: за это ей, наверное, хорошо платили из Петербурга. Не стоило обращать внимания.

* * *

— Нет, нет, — сердито возразил ему Энгельс, — вам надо ответить на ее клевету.

— Зачем? — пожал плечами Сергей. — У русских есть поговорка: собака лает — ветер носит.

— Поговорка хорошая, — жестко сказал Энгельс, — но здесь она не годится. У англичан принято отвечать на подобные вещи.

— Почему мы должны плясать под их дудку? — ершился Сергей.

— Я вам тоже напомним одну русскую поговорку, — улыбнулся Энгельс. — В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Так, кажется? Вы меня слушайте, я в этой Англии давно живу. Не забудьте, мадам Новикова держит салон, у нее бывают даже министры. Сегодня статья, завтра общественное мнение, послезавтра решение правительства.

— Неужели англичане так доверчивы?

— Это политика, дорогой Степняк. Пренебрегать ею нельзя. Мадам Новикова давно обрабатывает тяжелые умы английских тори.

— Хорошо, я напишу. Но напечатают ли?

— Вы действительно плохо еще знаете англичан. В той же газете! Это я беру на себя.

Через несколько дней «Пэл-мэл газетт» поместила резкое письмо Сергея. Общественное мнение британского острова было как будто немного успокоено. Во всяком случае, клевету на русских революционеров Сергей развенчал.

Но главный его ответ еще готовился, еще лежал сотнями страниц рукописи и ждал своего часа. Сергей отвечал от имени тысяч безгласных и забытых, которые не имели возможности постоять за себя и гибли жертвами всероссийской клеветы. В самодовольной, чинной Англии не представляли, до каких размеров она может вздуться, к какому позору привести.

Сергей разметал готовые странички, нашел то место, где разоблачал полицию, и стал вписывать новый текст. Он был там необходим, без него не получалось полной картины. Теперь Сергей видел это. Буквы, как всегда, когда он волновался, торопливо подталкивали друг друга.

«Самые низкие и презренные личности, сущие подонки общества, которым и под присягой никто бы не поверил, имеют полную возможность тайными обвинениями и лживыми разоблачениями насытить злобу, порожденную завистью, или отплатить за воображаемые обиды. Ни один донос, кто бы его ни послал, не остается без последствий. Стоит только... вороватому слуге, которого вы пригрозили отдать под суд, заявить, что вы социалист, и у вас немедленно произведут ночной обыск. У вас есть соперник, досаждающий вам? Прежний друг, которому вы хотите подложить свинью? Вам нужно лишь донести на него полиции.

Осведомители не обязаны даже сообщать свое имя. Анонимный донос имеет точно такое же хождение, как правильно подписанное обвинение. Полиция начинает действовать... производится ночная облава и обыск... Полиция не считается ни с чем — ни с численностью людей, подвергающихся репрессиям, ни с личностью человека... Нагрянуть во мраке ночи, вторгнуться наподобие грабителей в дома мирных граждан, обшарить их жилища и нагнать страх на детей — все это было порождено самим произволом деспотизма...»

Он вспомнил, как после покушения на Александра II в Швейцарию приехала одна русская, вовсе не интересующаяся политикой дама, вдова статского советника. Но кто-то кому-то что-то сказал, и за одни сутки полиция перевернула ее квартиру семь раз.

«Я не могла этого вынести, — жаловалась она Сергею. — У меня ведь четверо детей, я уехала из Петербурга». Ей без проволочки выдали заграничный паспорт — она

ведь была абсолютно благонадежна. А обыски? «По недоразумению», — безмятежно объяснили ей в участке.

«Со слишком многими приключалось, — бежало его перо по бумаге, — что их арестовывали по ошибке, ссылали по недоразумению, держали много лет в тюрьме зря. Все это случалось. Я расскажу об этом... Такие факты достаточно хорошо известны русским людям, и когда полиция ограничивается только непрошеным ночным визитом и обыском в нашем доме, мы почитаем за счастье, что так легко отделались».

Может быть, первый раз за всю историю российских клеветников им не дано было торжествовать.

* * *

О своей новой работе Сергей сообщал вскоре в одном из писем:

«Моя книга тенденциозная, политическая, предназначенная для возможно большей части публики. Я должен был сделать ее настолько серьезной, чтобы удар, наносимый русскому правительству в общественном мнении, был тяжелый, неотразимый, убивающий... Я был в такой же мере правдив, описывая их, как и описывая мир подпольный, нигилистический».

«Их» — означало царей и свору царских слуг: жандармов, полицейских, судей, надсмотрщиков.

Правда оказалась такой страшной, что ей не все сразу поверили. Даже те, кто сочувствовал революционерам. С одним таким скептиком Сергей встретился у Энгельса...

Как только Сергей вошел в комнату, ему навстречу из кресла поднялся худощавый, маслястый человек, с тонким носом и большими, как у запорожца, усами.

— Джордж Кеннан, — представился он, — журналист.

Сергей поздоровался и ждал, о чем тот заговорит, потому что было ясно: человек с открытым, простодушным лицом не просто так с силой пожал его руку и бесцеремонно разглядывает светлыми, навывкате глазами.

— Я читал вашу книгу. — Он говорил напористо, с американским акцентом. — Она написана великолепно. Я, старый газетный волк, даже позавидовал. Вы бьете наотмашь. Но книга — одно, а жизнь другое. Я понимаю, вы

раздражены против русского правительства, вы эмигрант. Но вы так сгустили краски, что вам перестаешь верить.

Сергея и покорила слегка эта прямота, но и понравилось, что его собеседник так, не стесняясь, говорит с автором. Чувствовалось, что у этого Кеннана есть какая-то своя, еще не высказанная заинтересованность в книге Сергея. Кроме того, Сергей знал, что случайных гостей у Энгельса не бывает, и вряд ли бы он стал принимать у себя человека, в честность и искренность которого не верил.

Энгельс находился с другими гостями в глубине комнаты, но Сергей заметил, что он не упускает из виду и его с Кеннаном и прислушивается к их разговору.

— Вы американец? — спросил Сергей.

— Да, — ответил Кеннан.

— Вам, я думаю, еще труднее понять нас, чем европейцам.

— Не согласен, — покачал головою Кеннан. — Мне кажется, я неплохо знаю Россию.

— Вы бывали в ней?

— Да, одиннадцать лет назад.

— Одиннадцать лет — целая эпоха. За это время полиция в России стала наглее.

— Все равно, — упрямо тряхнул головой Кеннан, — мне трудно поверить, когда вы пишете, что без суда и следствия продержали три года в тюрьме невинного человека.

— Но я привожу одни факты, — старался не выдать раздражения Сергей.

— Это гипербола, в духе вашего писателя Щедрин.

— Тут я ничем вам не смогу помочь, — сухо сказал Сергей, — разве что посоветовать: поезжайте вновь в Россию. Кстати, вам это сделать просто, — невесело добавил он.

— Я уже думал об этом, — живо подхватил Кеннан. — Вы приводите невероятные факты. Такого произвола над людьми не знает ни одна цивилизованная страна.

— В том-то вся беда, — усмехнулся Сергей, — что царская Россия цивилизованной страной еще не стала.

— Если верна хотя бы половина ваших фактов, — Кеннан продолжал развивать мысль, которая не давала покоя ему, — надо писать не одну, а несколько книг о бесчинствах полицейских в вашей стране. Надо бить во все колокола!

— Это мы и стараемся делать здесь, в эмиграции, — заметил Сергей.

— Вы неисправимый скептик, Джордж, — громко сказал Энгельс. — По-моему, вам не остается ничего другого, как второй раз поехать в Россию.

— Я не скептик, — возразил Кеннан, — я трезвый человек. Мы, американцы, вообще привыкли верить только фактам и своим глазам.

— Вот и совершите путешествие за Урал, — подзадоривал Энгельс. — Сомневаться в том, что написал другой, проще всего. Но мне кажется, вы согласитесь со Степняком, и это будет ваш лучший репортаж.

* * *

Джордж Кеннан действительно отправился в Россию. Он пришел к Сергею попрощаться и спросил, не хочет ли Сергей передать с ним что-нибудь своим друзьям.

— Вы к ним вряд ли попадете, — хмуро возразил Сергей.

— Почему? — удивился Кеннан.

— Потому что почти все мои друзья или в тюрьмах, или в ссылке, и вас к ним просто не пустят.

— Но я же еду не как частное лицо, а официально, от журнала. В Петербурге уже знают о моей поездке. Там обещали содействие.

— В чем? — удивился в свою очередь Сергей.

— Познакомить меня с местами наказаний и ссылок.

— Они вас просто надуют! — воскликнул Сергей, но тут же другая мысль вытеснила первую: — Хотя могут пойти крупнее. Общественное мнение заграницы для наших властей тоже кое-что значит. Особенно в борьбе с нами, эмигрантами. В России вас постараются задобрить, склонить на сторону правительства. Будут возить вас за государственный счет, развлекать у цыган и кормить черной икрой, — Сергей улыбнулся, представив картину тяжеловесного хлебосольства русских администраторов. — У нас это просто делается.

— Но меня не так просто обмануть, — задорно встрепенулся Кеннан.

— Посмотрим, — без особого участия откликнулся Сергей, которому стало вдруг очень грустно.

Едет в Россию совершенно посторонний, в сущности, для нее человек, а ему туда путь заказан. Похоже, что долго.

Он представил себе, как этот американец сойдет на перрон Николаевского вокзала и, не волнуясь, направится по Невскому проспекту к Адмиралтейству, небрежно ступая по твердым шашкам мостовой. Сейчас из Лондона и эта дубовая мостовая (роскошь, которой не знала Англия), и ряды разномастных домов, и площадь с холодным стволом Адмиралтейского столпа, и кружевной фасад Зимнего дворца — все это, составляющее облик русской столицы, казалось ему прекрасным и близким сердцу. Он почувствовал, что Петербург может существовать независимо от его владык, сам по себе, что можно любить его и тянуться к нему душой.

Раньше подобное чувство вызывал у Сергея Харьков. Сергей никогда бы не поверил, что его сердце может тепло забиться при мысли о Петербурге. Что это? Притупление памяти и других чувств, когда уходит в прошлое и понемногу стирается все злое, что было связано с этим городом? Или ностальгия — болезнь неизбежная и неподвластная человеку, оказавшемуся на чужбине? Не он ли сам писал несколько лет назад в «Подпольной России», что за граница для эмигранта — это дальний островок, куда попадает тот, чья лодчонка разбита разбушевавшимися волнами? Тебе не остается ничего другого, как стоять, скрестив руки, и неотступно думать о стране, где друзья борются и умирают. А вокруг кипит чуждая тебе жизнь, для которой ты вечный гость, чужой и одинокий.

Наверное, подобные чувства испытывал раньше и Герцен, который тоже оказался изгнанником на этом странном островке. Странном потому, что островок был королевством, но не трогал противников других монархий... А Герцен так и не сроднился с Англией. До последних дней он тоже думал и писал главным образом о России.

Герцен был первым, кто подсказал русским эмигрантам, что надо делать на чужбине для свободы родины.

Сергей завидовал Джорджу Кеннану, уехавшему в Россию, но знал, как побеждать свою тоску. Праздного времени у него совсем не было, а литературная работа давала ему минуты душевного покоя и веры в то, что и здесь, на чужбине, он живет не напрасно.

— Я слышала смешной разговор на пакетботе, — сказала Фанни, когда он встретил ее в дуврском порту. — Я вышла на палубу, а там стоят двое. По затылкам вижу — наши. Такие жирные, бритые затылки. Один говорит: «Не люблю я Англию». — «Отчего же?» — спрашивает другой. «Королевство, — говорит первый, — а всякий сброд пригревают». — «Вы о русских?» Это второй. А первый про тебя говорит. «Есть, — говорит, — там такой Степняк, опаснейший преступник, такие книги пишет — мурашки спину прошивают; суций разбойник и по виду, — говорит, — разбойник». — «А вы его видели?» — спрашивает второй. «А как же, на митинге, — говорит, — специально ходил, с черной бородой, как Пугачев, и голос, как у Соловья-Разбойника».

— Так и сказал: как Пугачев? — хохотал Сергей. — А голос, как у Соловья-Разбойника?

— Ну вот, ты не веришь, — обиделась Фанни, — и ничего в этом нет смешного.

— Это с какой стороны глядеть, — не унимался Сергей. — Хорошо, что я им за Пугачева кажусь.

— Они тебя совершенно не знают.

— Знают. То, что надо, они знают. Это они после «России под властью царей» так засуетились. Я тоже знаю, что написал хорошо.

— Даже блистательно? — прищурилась она.

— Откуда тебе известно? — подозрительно взглянул на нее Сергей, а потом добродушно засмеялся. — Понятно, Анка, как и ты, не умеет держать секретов.

— Какие же это секреты? — заступилась за подругу Фанни. — Ты прекрасно знаешь, что она давала мне читать все твои письма.

— Ну, хорошо, хорошо, — защищался Сергей, — тебе-то я все равно писал больше, чем всем другим, вместе взятым.

А в письме их общей приятельнице и единомышленнице Анне Эпштейн Сергей действительно написал, что книгой «Россия под властью царей» он огрел, как дубиной, русское правительство. «Это, милая Аночка, я сделал, — без ложной скромности признавался он, — и, судя по всем, как сочувственным, так и враждебным отзывам (в особенности враждебным)... сделал блистательно».

Вот так, и никакого хвастовства в этом нет. Что касается недостатков этой книги, то он их тоже очень хорошо представлял. Но не о них сейчас речь...

— Ты начал что-то новое? — спросила Фанни.

— Новое? — задумчиво переспросил Сергей. — Пока сам не знаю...

— Ты ведь хитришь. Я вижу!

— Ну, хитрю. Вернее, боюсь. Но тебе я могу сказать. Я задумал роман.

— Значит, я вовремя приехала. Мне так надоело во Франции, и все одна, без тебя... — В лице Фанни радость и оживление, но она, кажется, ни чуточки не удивилась. — Это ведь надолго.

— Надолго, — откликнулся Сергей, — весь путь — от розовой мечты, пропаганды в народе до цареубийства.

— Ты будешь писать о том, кто бросил бомбу?

— О Гриневицком? Нет. Все сложнее, ведь это будет роман. Я постараюсь написать обо всех нас. Главный герой будет самый обыкновенный революционер.

— А разве такие бывают?

— Бывают. Обязательно. Понимаешь, что мне интересно? Рассказать о сердечной сущности таких людей: что бы видно было, какие мы люди.

— Значит, в твоём романе будет и любовь?

— Будет, — опять задумался Сергей.

Мысль о романе становилась главной. Она вытесняла все другое. В голове складывались и распадались эпизоды, цепочки событий, характеры... Сергей знал, что у него хватит упорства, а времени теперь было с избытком. И Фанни наконец приехала к нему. Теперь уже навсегда. С ней, он знал, писать будет гораздо легче.

* * *

«Мой роман движется на всех парах, — делился он в одном из писем с Анной Эпштейн. — Ничего с таким удовольствием и легкостью не писал... вещь будет, несомненно, гораздо лучше, чем можно было ожидать. Я, по крайней мере, доволен, а это большая похвала. Затем, что мне почти столько же приятно, — язык мой английский Dr. Ave-ling и его жена (Маркса дочка), люди очень опытные, наши очень хорошим».

Да, на этот раз Сергей писал по-английски, так как роман должен был выйти сначала для британской публики. Он читал Эвелингам несколько отрывков и просил критиковать без всякого снисхождения. Элеонора Эвелинг посмеивалась: «Вы пишете лучше многих англичан, которые занимаются литературой. Кроме мелочей, мне не к чему придраться».

Рабочий день у Сергея начинался рано. До полудня он писал не отрываясь, лишь выпивал кофе, который тихо приносила Фанни. Ничто его не отвлекало. За открытым окном зацветал сад. Собственно, не сад — садик: несколько деревьев и кустов на задворках (выражаясь по-русски) одноэтажного домика.

Вид был и вправду самый что ни на есть пошехонский, провинциальный. Наверное, бедные окраины больших городов всюду одинаковы. Деревянные домишки, садики, разбитые тротуары. Форма крыш или окон мало влияет на общее впечатление. Заботы здесь у трудящегося люда примерно те же, что и у нас где-нибудь на окраине Москвы, Харькова или Смоленска.

Поэтому и поселился на этой лондонской окраине Сергей. Тут было не только дешевле, но и приятней, теплее как-то. Чужой образ жизни меньше раздражал и отвлекал от работы.

«Вот и у меня появилась моя крепость, — улыбался Сергей, — мой дом — моя крепость; это англичане неплохо выдумали. Во всяком случае, я могу быть уверен, что, пока я работаю, никакая усатая морда при сабле и погонах не влезет в мое святая святых».

До полудня он оставался со своими героями — Жоржем, Таней, Андреем...

Андрей был главным — самоотверженным, бесстрашным и твердым. А его друг Жорж был поэтом. Они хорошо дополняли друг друга: всегда спокойный, рассудительный Андрей и вспыльчивый, горячий Жорж. И оба они любили Таню Репину, замечательную девушку, которую любовь сделала революционеркой.

Невольно Андрею и Жоржу Сергей передавал свои собственные чувства и мысли; эти герои становились его двойниками. Но в них отразился не только он, автор, а и другие люди, его друзья, с которыми он провел свои лучшие годы в России...

В саду звенели синицы. Самые смелые садились на подоконник рядом со столом. Любопытничали, чем это занят каждое утро добрый человек, который ни разу не забыл насыпать им крошек или зерна.

А потом, когда солнце сползало в сторону и подоконник накрывала тень, человек оставлял свои бумаги и уходил.

Кроме синиц, у него была уйма других приятелей, каждый ждал от него доброго слова и ласки. Они уже знали, когда Сергей появится на улице, и терпеливо караулили его возле своих палисадников и ворот.

Девятилетний сын механика паровозного депо Сэмюэль, или, как называл его дружески Сергей, Сэмми (ведь они были друзья), захлебываясь, сообщал последние сведения о своей вороне. То есть о той вороне, которая, на удивление всем, снесла яички прямо за бочкой с дождевой водой и теперь беспокойно высиживала там воронят.

Маленькая девочка Мэгги, которая жила по соседству, посвящала его в тайны нарядов для всех своих пяти кукол. Добродушный мистер Серж отлично ее понимал и даже время от времени приносил ей необыкновенные лоскуты для платьев и передничков.

А сын почтальона рыжий Пат стрелял вместе с Сергеем в цель из лука. С Патом было непросто, так как он до слез переживал свои промахи. Никак ему не удавалось сравняться со своим учителем, который сам сделал этот лук и стрелял из него, как настоящий Робин Гуд.

Так обходил Сергей всех своих знакомцев, а возвращаясь из города, где у него каждый день были другие, сложные дела (и в издательствах, и в редакциях, и в фонде вольной русской прессы), приносил и Сэму, и Мэгги, и Пату, и другим то орехи в хрустящих конвертах, то разноцветные леденцы. Его малыши и не подозревали, что иногда на эти лакомства их взрослый друг тратил последние пенсы.

А «кроме того, — признавался он в одном из писем Анне Эпштейн, которую интересовали самые незначительные детали житья-бытья Сергея и Фанни, — у меня на стороне много приятелей между псами всех величин и пород, о которых мне от времени до времени сообщают сведения».

Он теперь не мог жить без того, чтобы не опекать по-

стоянно слабых, маленьких и беззащитных. И они тянулись к нему, радовались встрече с ним и знали, что он всегда придет на помощь, этот большой, ласковый и немножко странный человек.

* * *

Ушли в прошлое те времена, когда у Сергея не было крахмальной сорочки, чтобы отправиться на переговоры с издателем. Впрочем, он никогда не любил педантизма в одежде. Еще с той поры, когда был военным. Англичане так и не смогли приохотить его к некоторым своим привычкам. Он чувствовал себя стесненно, когда попадал в общество джентльменов, которые слишком уж обращали внимание на то, кто как одет, как отодвигает стул или держит вилку. Ему были непонятны люди, загромождающие свою жизнь условностями. А таких людей становилось для него все больше: журналисты, парламентарии, владельцы газет, деятели тред-юнионов. От них многое зависело в жизни эмигранта, в особенности пишущего. Да еще такого, который создавал фонд помощи вольной русской прессы. Приходилось поэтому кое-что и терпеть.

Но все это были мелочи. Дома он запирал в шкаф свой отутюженный костюм и надевал фланелевую рубашу и старые вельветовые штаны. В этой одежде он становился похож на фермера. Да и занимался он во второй половине дня всякой такой работой: мастерил мебель для дома, возился в саду.

Только у Энгельса он не испытывал никакого стеснения, мог прийти к нему запросто, зная, что хозяин не покосится на него, как бы он ни оделся. У Энгельса обстановка напоминала дружескую атмосферу сходов русских «нигилистов». Он был прост и мил, а вот одевался всегда, даже дома, с особенной, удивлявшей Сергея изысканностью. Но это последнее было, конечно, не главным.

Сергея тянуло к Энгельсу, потому что Энгельс был близок ему своей энергией и жизнелюбием, радушным, дружеским отношением к людям. Сергей сам был таким. Общение с ним доставляло радость еще и потому, что Энгельс был безмерно щедр, когда делился своими знаниями с другими людьми. В нем не было ни грама педантизма. Поучать он не любил, да, наверное бы, и не смог. Не то, что Лавров или Кропоткин. Те порой выходили из себя, когда их

слушали с недостаточным вниманием или противоречили, в особенности Кропоткин...

Как бы жестоко ни обошлась с Сергеем жизнь в последние годы, она не могла лишить его постоянной радости узнавать замечательных людей.

Бывало и так, что не сразу он сближался с человеком. При расставании с Джорджем Кеннаном Сергей подумал, что этот самоуверенный американец вряд ли когда-нибудь станет близок ему, даже если отчасти изменит свои взгляды после поездки в Россию.

Но вышло иначе.

Сергей возвращался из города и, по обыкновению, обдумывал некоторые детали своего романа. Оставалось еще две главы, и у Сергея впервые было тревожное и радостное ощущение того, что книга в общем завершена; еще несколько дней — и он напишет последнее слово.

Главный герой романа Андрей Кожухов с револьвером в кармане выходил на площадь, где должна была совершиться роковая для него встреча с царем...

«Поймут ли, — думал Сергей, — что мой роман, прославляя отвагу таких, как Андрей, подписывает приговор терроризму? Но я был обязан рассказать правду о богатстве и бескорыстии его сердца. Старые типы революционеров 70-х годов остаются в прошлом. Я постараюсь сохранить их образы для тех, кто идет им на смену. Мы ведь не зря жертвовали собой в ту глухую пору».

Он подошел к своему домику и увидел, что на крыльце стоит высокий жилистый человек.

«Значит, он вернулся благополучно, — подумал Сергей, невольно радуясь встрече, — что бы там ни было, а он приехал из России. Если я не ошибаюсь, мы не виделись больше года».

Джордж Кеннан сказал просто, без всяких предисловий:

— Я пришел к вам, дорогой Степняк, чтобы предложить свое содействие русским революционерам. Я был скептиком — поездка меня излечила. Вы не описали и половины тех ужасов, которые мне удалось видеть в сибирских тюрьмах.

— К сожалению или к счастью, — усмехнулся Сергей, — в Сибири я не был, поэтому и писать как очевидец не мог.

— А ведь вы были правы, меня пытались задобрить, потом запугать. Но было уже поздно. Факты я собрал. Я напишу очерки для американцев. Но это не главное. У меня есть мысль — вы приедете в Америку и сами расскажете о том, почему русские стреляют в своих царей.

— Мы мало чего добились убийством царя, — невесело ответил Сергей, которому показалось, что американец видит все-таки в основном внешнюю сторону их борьбы.

— Знаете, — Кеннан как будто и не заметил хмурой интонации Сергея, — если бы я был русским, я бы тоже стал нигилистом. Для честного человека иного пути в России, по-моему, нет.

— Не будьте слишком строги к тем, кто не уходит в подполье. Многие из них нам помогают.

— В Америке тоже найдутся люди, которые станут вам помогать. Надо поехать — американцы понятия не имеют, что происходит в России.

— Это не так просто, — сомневался Сергей, — я совершенно не знаю вашей страны.

— Но я вам помогу! В Америке мы создадим общество друзей революционной России.

— Я не отказываюсь. Но мне надо кончить книгу.

— Хорошо. Кончайте, — Кеннан, кажется, все уже решил. — Я уеду через неделю и все подготовлю: маршрут, помещения, где выступать. Убежден — мы соберем немало средств, а сторонников у вас родятся сотни. Американцы отзывчивы. В этом они похожи на русских. Я никогда не забуду тех встреч, которые были у меня в Сибири. Я там познакомился с вашим другом — Феликсом Волховским. Вы знаете, — Кеннан коснулся руки Сергея, стал говорить взволнованнее и тревожнее, — я не могу понять вашу административную систему: за что они так преследуют этого человека? Его швыряют из одного острога в другой. Похоже, они решили сжечь его со света. Но мы с ним кое-что изобрели!

— Вы с ним?!

— А что же вы думаете? — Лицо Кеннана приняло таинственную, насмешливую Сергея мину. — Я ни на что, кроме путешествий, не способен? Поверьте моему слову, через два-три месяца ваш друг будет в Лондоне.

— Но каким образом? Неужели он рискнет бежать через Сибирь и Европейскую Россию?

— На этот раз вы не отгадали, — торжествовал Кеннан, — он поедет на Дальний Восток, а оттуда ему помогут перебраться в Америку.

— Но вы все учли? Провал может кончиться для Феликса тюрьмой на долгие годы.

— Он сам со мной все рассчитывал. Все будет в порядке, не волнуйтесь, дорогой мой Степняк. Такого человека, как Волховский, надо вытащить из Сибири.

* * *

Кеннан ошибся, но только в сроках.

Роман об Андрее Кожухове под названием «Карьера нигилиста» был уже напечатан и Сергей готовился к поездке за океан, когда произошла его встреча с Волховским.

Был ветреный зимний день. За окном уныло раскачивались голые ветки деревьев. Сергей подбрасывал в камин дрова и перечитывал английские газеты.

В одной из них ему попала на глаза статейка о его романе. Кто-то не слишком доброжелательный к русскому автору писал о том, что г-н Степняк «стоит высоко как романист, и поэтому очарование его таланта увеличивает опасность распространения идей, содержащихся в книге».

«Забеспокоились, — весело подумал Сергей. — Но идеи люди ловят не только из книг. Этого, кажется, мой почтенный критик не подозревает».

— Фанни! — крикнул он и, когда жена пришла к нему из кухни, прочитал мнение английского рецензента. — Видишь, он так и пишет: «Многие любопытные читатели могут усвоить нигилистические взгляды».

Фанни засмеялась:

— Еще два или три таких романа — и консерваторы потребуют, чтобы ты убрался из Англии.

— Ну, это будет не так уж скоро, если два-три романа. А к тому времени, глядишь, и у нас в России кое-что изменится.

— Я пойду, — с мягкой улыбкой сказала Фанни, — у меня там пригорит.

Она вышла, а он еще некоторое время читал газету.

Громкий лай снаружи заставил его подняться. Так, с захлебом, Паранька бросалась только на чужих.

Сергей открыл дверь на крыльцо.



Внизу, на дорожке, отбивалась от наскоков Параньки какая-то личность.

Не то она крутилась вокруг шустрой собачонки, не то Паранька ловчилась ухватить ее сзади за штаны. Личность совала в лохматую морду Параньки мешок и без особого, вроде, испуга урезонивала по-русски:

— Ну, чего ты, чего? Я же тебя не съем.

Но Паранька твердо знала свою службу: когда хозяин в доме, никто без спросу у нее не имел права переступить порог.

А Сергей, вглядываясь в незнакомца, уже узнавал его, и радость, безмерная радость, захлестывала Сергея.

— Феликс! — крикнул он, ринулся с крыльца и сгреб Волховского в объятия.

На крыльцо выбежала Фанни и не сразу разобралась, в чем дело, потому что муж и какой-то рыжебородый бродяга в непривычной для Англии ковбойской шляпе топтались, как два медведя, а вокруг них с лаем скакала Паранька.

Потом Фанни хлопотала у стола и, заражаясь их возбуждением, говорила:

— Как хорошо, что я пирог с утра поставила! Я ведь чувствовала — сегодня день будет особенный.

— А кроме пирога, еще кое-чего найдем в наших погребках? — весело спрашивал Сергей.

— Найдем, найдем, — спешила Фанни.

— Это не русская, — Сергей принял из рук жены бутылку, — но за встречу выпить сгодится.

Он разлил по стаканам шотландское виски.

Волховский, похоже, был смущен от такого бурного внимания к своей особе. Впрочем, дело было даже не в этом, хотя он и не привык за последние годы, чтобы вокруг него так хлопотали. Впервые после нескольких недель опасных приключений в Сибири, на Дальнем Востоке, в Японии, а затем в Америке, которую он пересек с востока на запад, Волховский находился среди своих, и одно чувство постепенно завладело им, вытесняя все остальное, — он в безопасности, в безопасности, он снова может жить и бороться!

Фанни с интересом рассматривала Волховского.

Он был уже немолод, да и пережитое в ссылке, наверняка, еще больше состарило его. Борода и усы скрывали нижнюю часть лица. Но характер этого человека все равно был щедро раскрыт — в голубых, по-молодому ясных глазах.

Одет он был в кожаную потрепанную куртку и брезентовые штаны, словно ковбой или золотоискатель; был у него вид человека, которому любы и по плечу всякие опасности и невзгоды.

Сергей поднял стакан:

— За твою звезду, Феликс!

Волховский прикоснулся своим стаканом к стаканам Сергея и Фанни.

— Звезду пленительного счастья? — Он улыбался устало и отрешенно. — Да, я снова начинаю жизнь. Но я хочу, чтобы мы выпили не только за меня. Выпьем за тех, кто остался в Сибири. За всех наших друзей, которых мы потеряли. За тех, кто еще вырвется на свободу. За нашу победу, я ведь, как и ты, несмотря ни на что, по-прежнему в нее верю.



П О С Л Е С Л О В И Е

Книги Кравчинского скоро завоевали мировую известность. Как свидетельствует исследовательница его творчества Е. Таратута, «Подпольную Россию» рекомендовал Владимир Ильич Ленин для пропаганды истории русского революционного движения.

В. И. Ленин в одной из своих статей о Льве Толстом отмечал, что мировое значение и известность Льва Толстого как художника и мыслителя отражает по-своему мировое значение русской революции, некоторые существенные стороны которой он в своих произведениях выразил. Интересно в связи с этим отметить, что Степняк-Кравчинский связывал интерес к своему творчеству со стороны мировой общественности с важным значением революционных событий, разворачивавшихся в России.

Так, в одном из своих писем жене Кравчинский пытается объяснить теплые чувства по отношению к себе со стороны прогрессивной английской общественности и, в частности, со стороны таких людей, как Фридрих Энгельс и Элеонора Эвелинг (дочь Карла Маркса): «Я понимаю, что мой личный успех похож на успех моей книжки: за мной стоит обширное движение, коего я являюсь так или иначе представителем, не только историографом...»

Это «обширное движение» — борьба революционной России 70-х годов прошлого века против самодержавия — становится главной темой его произведений. Их идейная сила и художественная убедительность как раз и объяснялись тем, что автор был не только «историографом», но и активным участником этого движения.

Его очерков и статей, посвященных русскому революционному движению, ждут многие газеты и журналы разных стран мира. Кроме того, он часто выступает на митингах и собраниях демократической общественности Англии, Франции, Америки.

В Америке Кравчинский прочел цикл лекций об истории революционной борьбы в своей стране. У него завязываются дружеские отношения с выдающимися деятелями западно-европейского и американского демократического и рабочего движения. На первомайской демонстрации в Лондоне в 1890 году он выступает вместе с Ф. Энгельсом и П. Лафаргом...

Небольшой домик Степняка-Кравчинского в лондонском районе Сент-Джонс-Вуд (как раньше дом Герцена в Лондоне) был своеобразным клубом, в котором собирались русские и зарубежные революционеры, а также люди им близкие, деятели литературы и искусства. Кравчинский притягивал к себе своей сердечностью, вниманием и заботой к делам других людей.

Среди его друзей были поляки, венгры, французы, итальянцы, американцы... Он являлся интернационалистом в полном смысле этого слова.

В годы эмиграции он сближается с известными писателями — Б. Шоу, О. Уайльдом, М. Твенем. Э. Л. Войнич, познакомившись со Степняком, стала его преданным другом до конца своих дней. Под его влиянием она пишет роман «Овод»...

На тихой улице лондонского предместья прошли последние годы Степняка. Отсюда он посылал свою обширную корреспонденцию в самые разные города земного шара. Здесь он писал свои книги о России. Но в саму Россию произведения Степняка ввозили нелегально. Его роман «Карьера нигилиста» (теперь он известен под названием «Андрей Кожухов») был напечатан, да и то с цензурными купюрами, только после первой русской революции. А вскоре, когда опять наступила реакция, его запретили.

Вот, например, отрывок из приговора судебной палаты по делу о запрете романа Степняка-Кравчинского в 1912 году:

«Изображая этих последних [революционеров]... людьми благородными и отважными, исполненными неистощимой энергией в борьбе с государственным строем и без

колебаний жертвующими своей жизнью на благо народа, автор, касаясь органов правительства, прибегает к таким описаниям и выражениям, которые могут подорвать авторитет власти и должное к ней отношение».

Да, надо сказать, что царские чиновники очень правильно усматривали в этой чисто беллетристической книге Кравчинского большую опасность. Она действительно создавала высоко нравственные и глубоко правдивые образы революционеров и помогала читателям того времени освободиться от остатков уважения к правительству.

Читателей нашего времени «Андрей Кожухов» привлекает романтикой революционной борьбы и по-человечески прекрасными образами героев. Этот роман может являться ярким художественным подтверждением известной мысли В. И. Ленина о том, что «марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы».

«Андрей Кожухов» — талантливое художественное произведение, в котором писатель нарисовал начало этой великой истории невиданного героизма и жертв.

Главная заслуга романа Кравчинского, как справедливо писала Вера Засулич, заключалась «именно в том, что он восстанавливает перед читателями [имеются в виду читатели конца XIX века] все реже и реже встречающиеся в русской жизни типы прежних нелегальных революционеров». То есть характерные образы революционных деятелей периода «Земли и воли». И, как свидетельствовала далее Засулич, «Андрей Кожухов» — это единственное во всей русской литературе художественное произведение о жизни русских революционеров-народников, написанное человеком, который сам принадлежал к их среде.

Когда «Земля и воля» раскололась на две партии — «Черный передел» и «Народная воля», Кравчинский был уже в эмиграции, но всеми своими силами помогал народо-вольцам. Однако следует подчеркнуть, что путь идейного развития писателя был путем постепенного преодоления заблуждений. В 1893 году, оценивая прошлое народо-вольцев, он писал в новом издании «Подпольной России»:

«Жизнь дала много нового в смысле освещения всей этой эпохи как целого, выяснив многие ошибки, разбив многие иллюзии...»

Но еще ранее, когда Кравчинский только принимался за свою первую художественно-публицистическую книгу о революционном движении 70-х годов, он стал преодолевать свойственные ему как бывшему землевольцу иллюзии. Поэтому-то в «Подпольной России» он и стремился прежде всего рассказать о высоких человеческих качествах своих друзей, о героизме людей обреченного исторически дела. «Чем дальше мы будем удаляться от этого времени, — писал он за два года до смерти, — тем оно будет казаться нам величественнее и тем грандиознее будут возвышаться богатырские фигуры людей, которые вынесли на плечах эту борьбу».

В одном из писем Вере Засулич в 1878 году Кравчинский обращался с упреком по адресу организации, к которой принадлежал сам: «Много ли в рядах социалистов-революционеров крестьян и рабочих?»

А в «Заключении» к новому изданию «Подпольной России» в 1893 году писатель утверждал более определенно:

«В Петербурге массы фабричных и заводских рабочих. Ими «Народная Воля», по справедливому замечанию наших социал-демократов, мало занималась, посвящая им лишь незначительную часть сил».

Такая точка зрения находит отражение и в романе «Андрей Кожухов».

Поэтому, конечно, не случайно первые русские марксисты видели в Кравчинском близкого себе человека: Г. В. Плеханов предлагает ему написать совместно книгу «Правительство и литература в России»; В. И. Засулич приглашает его принять участие в сборнике группы «Освобождение труда» — «Работник» (интересно, что на обсуждении издания этого сборника — 1895 год — между группой «Освобождение труда» и В. И. Лениным произошла первая встреча Ленина с Плехановым).

«...Несмотря на разность воззрений, — писала Засулич, — мы были убеждены, что настанет день, когда мы назовем его совсем своим. Последнее время эта уверенность была крепче, чем когда-либо, и только смерть помешала осуществлению этой надежды».

Гибель Кравчинского была неожиданной и трагичной. Он попал под поезд в Лондоне, когда переходил железнодорожные пути. Смерть прервала его обширные планы. После «Андрея Кожухова» он успел написать еще несколько произведений, а в замыслах были новые романы, «один другого лучше», как сообщал он сам в письме к одному из друзей. Он погиб в 1895 году, когда ему было всего сорок четыре года.

Похороны Степняка превратились во внушительную демонстрацию демократической и революционной общественности разных стран. Рабочий-социалист Джон Бернс на его могиле сказал: «Я знал Степняка и в течение нескольких лет пользовался его дружбой и добрыми советами... Он соединял в себе сердце льва и добродушие ребенка. Это был великодушный человек и крупная личность в революционном движении Европы».

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Часть первая.

| | |
|----------------------------|---|
| СКАЗКА О КОПЕЙКЕ | 5 |
|----------------------------|---|

Часть вторая.

| | |
|----------------------------|----|
| СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬ | 55 |
|----------------------------|----|

Часть третья.

| | |
|-----------------------------|-----|
| ПОДПОЛЬНАЯ РОССИЯ | 127 |
|-----------------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| Послесловие | 201 |
|-----------------------|-----|

Для среднего и старшего возраста

Смольников Игорь Федорович

ОСТРЕЕ КЛИНКА

Ответственный редактор Н. К. Не у й м и н а.

Художественный редактор В. В. Куп р и я н о в.

Технический редактор Т. С. Ф и л и п п о в а.

Корректоры К. Д. Н е м к о в с к а я и Н. П. В а с и л ь е в а.

Подписано к набору 20/XII 1972 г. Подписано к печати 30/III 1973 г. Фсрмат 60 × 84^{1/16}. Бумага типографская м/мел. Усл. печ. л. 12,1. Уч.-изд. л. 10,59. Тираж 75 000 экз. М-15749. Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени издательства «Детская литература». Ленинград, 192187, наб. Кутузова, 6. Фабрика «Детская книга» № 2 Ростлавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 193036, 2-я Советская, 7. Заказ № 382.
Цена 57 коп.

С 15 Смольников И. Ф.
Острее клинка. Повесть. Рис. В. Алексеева, Л.,
«Дет. лит.», 1973.

208 с. с илл.

Документальная повесть о русском писателе и революционере
С. Степняке-Кравчинском.

0763
523 — 73

9С1

57/105

ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ



Острые КЛАНКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ • Острые КЛАНКА